A.BECTYHEB-MAPJUHERIK





BUBJИОТЕКА ПОЭТАОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

РЕДАКЦПОННАЯ КОЛЛЕГПЯ: Г. А. ГРУЗДЕВ, Р. Г. ДРУЗИН, А. М. ЕГОЛИН, Л. А. ИЛОТКИГ, А. А. ПРОКОФЬЕВ, В. М. САЯНОВ, П. В. СЕРГПЕВСКИЙ, Г. Э. СОРОКИН, Н. С. ТИХОНОВ

А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

собрание стихотворений

подготовка текста

г. в. прохорова

вступительная статья, редакция и примечания н. н. мордовченко

А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

А. А. Бестужев-Марлинский вошел в историю русской литературы как выдающийся деятель романтического движения и как видный участник событий 14 декабря 1825 года. Соратник Рылеева по революционной работе в Северном тайном обществе декабристов, критик и публицист, переводчик, поэт и прозаик -- Бестужев сыграл важную и ответственную роль в литературной борьбе 20-х годов. После разгрома декабрьского восстания заключенный в крепость, а затем отправленный в ссылку, Бестужев продолжал литературную работу и в 30-е годы создал себе славу романтическими повестями. Славе сопутствовали, однако, тяжелые жизненные испытания. Из ссылки, которую отбывал Бестужев в Якутске, его перевели на Кавказ, и в качестве солдата он действовал в боях с горцами. Исключительная храбрость, проявленная Бестужевым, не спасла его от постоянных преследований начальства и не улучшила его положения. Только смерть положила конец испытаниям бывшего декабриста: 7 июня 1837 года Бестужев был убит при занятии русскими войсками мыса Адлер.

Литературная деятельность Бестужева делится на три неравных периода: первый период охватывает годы 1818—1822, вогда Бестужев искал путей в литературе и когда он действовал как поэт, публицист и критик в качестве последователя карамзинской школы; второй период, с 1823 по 1825 год, знаменателен перехолом Бестужева на романтические позиции, вступлением в Северное общество декабристов и работой в области критики и прозы; третий и последний период, с 1826 по 1837 год, охватывает время тюрьмы, ссылки и солдатчины, когда Бестужев, после недолгого увлечения поэзией, становится автором прославленных повестей и одной, но значительной и важной критической статьи.

Рассмотрение поэзии Бестужева целесообразнее и удобнее свявать с обвором его творческого пути и характеристикой ого дитературной позиции. Александр Бестужев родился в 1797 году в Петербурге, в замечательной семье, из которой четверо братьев стали впоследствии декабристами. Глава этой семьи А. Ф. Бестужев был известным писателем радикального направления, примыкавшим к группе последователей материалистической философии, группе, отчасти связанной с Радищевым. Совместно с И. Н. Пниным А. Ф. Бестужев издавал в 1798 году «С.-Петербургский журнал», в котором ярко выразился русский философский и социально-политический радикализм конца XVIII века.

Александр Бестужев начал литературную деятельность в 1818 году, когда ему было немногим более 20 лет и когда он служил в чине прапорщика в лейб-гвардии Драгунском полку. Полк был расположен под Петергофом в Марли, — отсюда и псевдоним «Марлинский», под которым Бестужев вскоре стал известен — сначала в критике, а потом и в литературе.

Первыми печатными произведениями Бестужева были — стихотворный перевод «Дух бури (Из Лагарпа)» и перевод одной из глав третьего тома книги баварского посланника при Российском дворе гр. де Брея «Опыт критической истории Лифляндии с критикой нынешнего состояния сей области» (Дерпт, 1817). 1

Вопрос о положении крестьянства для Бестужева с юных лет был одним из основных вопросов. Поэтому оп и взялся за книгу де Брея, в которой значительное место было отведено именно этому вопросу. ² Бестужев избрал для перевода тот отрывок книги, где автор сравнивал положение русских и лифляндских крестьян и возмущался крепостным правом в России. Де Брей восхищался работоспособностью, талантливостью и высокой нравственностью русских крестьян.

Отрывок, переведенный Бестужевым для «Сына отечества», подвергся цензурным купюрам, поскольку тема крепостного права была для печати запретной, а окончание перевода не появилось в журнале вовсе, хотя оно и было обещано.

Выполнив для печати всего лишь две переводных работы, Бестужев в конце 1818 года подал в Петербургский цензурный комитет прошение о разрешении ему со следующего 1819 года издавать журнал, озаглавленный им по имени мифологической богини весны «Зимцерла».

^{1 «}Сын отечества» 1818, № 31, стр. 228 — 229 и № 38, стр. 241 — 254. ² А. А. Богданова. А. А. Бестужев как переводчик, рецензент и критик. «Ученые записки Новосибирского гос. педаг. ин-та», 1945, вып. 1, стр. 108.

Издание журнала не было разрешено, но к Бестужеву вскоре же пришла известность за острые критические статьи и репсизии, которые он начал систематически печатать в петербургских периодических изданиях. Одновременно с развитием литературно-критической деятельности росли также и либеральные настроения Бестужева. Мы знаем, например, что после восстания лейб-гвардии Семеновского полка осенью 1820 года Бестужев навещал семеновцев в Кронштадте, где они пробыли несколько дней перед отправкой в Свеаборгскую крепость. Такое внимание к опальным товарищам-офицерам свидетельствовало о несомненном сочувствии к ним Бестужева и грозило ему неприятными последствиями. Из друзей Бестужева, в общении с которыми укреплялось его вольнолюбие, в первую очередь нужно назвать поэта А. Н. Кренипына, воспитанника Пажеского корпуса, организатора кружка юных вольнодумиев, к которому был, между прочим, близок и Баратынский. Еще в 1816 году Баратынский был исключен из корпуса и разжалован в рядовые, а через четыре года (в 1820 г.) за участие в так называемом Арсеньевском бунте пажей был разжалован в рядовые и Креницын. Можно предполагать, что через Креняцына и Баратынского Бестужев сблизился и с другими поэтами, в частности с Дельвигом. О знакомстве Бестужева с Пушкиным у нас нет определенных данных; скорее всего, что завизавшаяся между ними переписка (с 1822 г.) была основана на заочном знакомстве.

У Бестужева образовались связи и в театральных кругах, поскольку две его первых нашумевших критических статьи 1819 года были посвящены драматическим произведениям. Одна статья Бестужева была посвящена разбору катенинского перевода трагедии Расина «Эсфирь», 1 другая — разбору «Липецких вод» Шаховского. 2

Сопоставив перевод Катенина с подлинником трагедии, Бестужев отметил «весьма немногие удачно переведенные» стихи, а все остальное квалифицировал как «почти беспрерывное сцепление непростительных ошибок против вкуса, смысла, а чаще всего против языка, не говоря уже о требованиях поэзии и гармонии». Бестужев восставал против лексики перевода -- против «самой неупотребительной, варжавевшей славянщизны, перемещанной весьма неосторожно с простейшими русскими словами».

Дело было, конечно, не в языковых ошибках Катенина и не в нелепостях его перевода, а в определенной стилистической системе, враждебной Бестужеву, которую он стремился комически представить как неденую. В разборе «Эсфири» Бестужев выступил сто-

^{1 «}Сын отетества» 1819, № 3, стр. 107 — 124. 2 Там же, 1819, № 6, стр. 252 — 273.

ронником караманской школы «очистителей языка», боровшихся с церковно-славяниямами и отрицавшими их поэтическое значение.

Начиная с 1819 года Бестужев открывает систематическую борьбу с Катениным; разногласиями по литературным вопросам объясняется также в значительной мере предубеждение Бестужева против Грибоедова, как единомышленника Катепина, и взаимная их колодность до 1824 года. По своему литературному направлению Бестужев с первых же шагов своей деятельности пошел за поэтами арзамасского круга. Это явствует совершенно определенно из статьи Бестужева, посвященной разбору «Липецких вод».

Комедия Шаховского «Липецкие воды, или урок кокеткам», поставленная на сцене еще в 1815 году, явилась, как известно, одним из наиболее ярких эпизодов борьбы между «Беседой любителей русского слова» и карамзинистами. За памфлет на Жуковского, выведенного Шаховским в образе «балладника Фиалкина», комедия вызвала ряд издевательских откликов со стороны карамзинистов, основавших тогда общество «Арзамас». Первая же развернутая критика комедии появилась лишь в 1819 году, и принадлежала она Бестужеву. Это было продолжение арзамасской борьбы с направлением «Беседы любителей русского слова» и Шаховским как представителем этого направления.

Вместе с карамзинистами высмеивая «Беседу любителей русского слова», высоко ценя Жуковского и подчиняясь карамэннистским стилевым принципам, Бестужев, однако, сохраняет самостоятельность и своеобразие своего лида. Бестужеву были присущи гражданские темы, темы обличения социального неустройства, он не сочувствовал общественному безразличию карамзинистов и их «легкой» сатире нравов. Если в отрывке из комедии «Оптимист» Бестужев касается вопросов общественного зла еще в отвлеченном плане, утверждая, что «есть эло, но есть и благо под луной», в «Подражании первой сатире Буало» (не печатавшейся при жизни Бестужева) он уже клеймит разложение общества и нападает на власть. «Я вольности обрел элатую нить», — говорит поэт, противопоставляя свое гордое одиночество продажности и лицемерию петропольского мира «судей, писцов и сыщиков». Тема этого стихотворения — о роли поэта и об отношении с толпой — и впоследствии привлекала внимание Бестужева (ср. «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года»).

За годы 1819—1822 Бестужев напечатал в журналах свыше тридцати критических разборов и рецензий, фельетонов, переводных отрывков и пр.

Обличение пороков всякого рода, высменвание невежества, пустословия и глупости, составляло главный предмет фельетонов Бестужева. В своих критических статьях и рецензиях Бестужев разбирал не только собственно литературные работы, но книги и брошюры по другим отраслям знания.

При всей тематической пестроте фельетонов, критических и полемических заметок Бестужева — во многих из них отчетливо видны умонастроения и симпатии будущего декабриста. Так, например, в своих замечаниях по поводу общирной статьи Н. И. Гнедича о выставке в Академии художеств 1820 года Бестужев вспоминает, что Людовик XIV «велел вынести из своей картинной галлереи все Теньеровы пейзажи, гдс представлены были сельские праздники». И дальше следует характерное восклицание: «Не верю величию души твоей, гордый Людовик XIV, когда ты мог презирать полезнейший класс народа!» 1 В своих возражениях на разбор «Опытов» В. Перевощикова Бестужев с восторгом говорит о «благороднейшем» человеке Таците и о его «Жизни Агриколы», которую, по его мнению, должны с благоговением читать все имеющие «сердца». 2 Нельзя не вспомнить здесь, как почитали Тапита декабристы. В переведенном Бестужевым отрывке «О потерянном рае (Из Блера)» 3 дается необычайно высокая оценка Мильтона, который ставится чуть ли не выше Гомера. Бестужев искал в литературе образцов высокой нравственности, возвышенных мыслей и героических дел. С этой точки зрения весьма примечательна рецензия Бестужева на перевод повестей Копебу «Подарок сыновыям моим на Новый год». 4

Ко времени появления в печати названной рецензии популярный немецкий писатель и реакционный деятель Копебу был убит Карлом Зандом. Тем большую остроту приобретали суждения Бестужева, обличавшего Конебу как детского писателя и высмеивавшего его взгляды на нравственное воспитание.

На первом этапе своей деятельности Бестужев разделял принпип правственной пользы поэзии, обоснованный Сульцером, 5 он сочувствовал также теории французов и особенно Лагарпа. На последнего Бестужев прямо ссылался при разборе, например, перевода комедии Пирона «Метромания»; теория Лагария служила для него руководящей и при оценке «Липедких вод». Романтизм принес с собой новые эстетические понятия, и теория французов должна была быть коренным образом пересмотрена. Точно так же и принцип нравственной пользы поэвии, защищавщийся Бестужевым в 1820 году, через

^{1 «}Сын отечества» 1820, ч. 65, № 44, стр. 162 — 163.
2 «Сын отечества» 1822, ч. 80, № 36. стр. 108 — 109.
8 «Соревнователь проовещения и благстворения» 1820, № 12, стр. 285 — 293.
4 «Сын отечества» 1820, ч. 66, № 47, стр. 21 — 28.
5 См. рассуждение Бестужева «О вкусе» — «Благонамеренный» 1820, июль, № XI, стр. 315 — 325.

три-четыре года если не отменяется им, то перерабатывается и приводитея в соответствие с романтическим требованием возвышенных чувств и мыслей.

К романтизму Бестужев шел как воспитанник карамзинской школы, как защитник и продолжатель карамзинизма. Поэтому Бестужеву враждебно было то течение в романтизме, которое повело борьбу за «простонародность» и «славянщину» и которое было представлено Катениным.

В 1820 году Бестужев резко и насмещливо отозвался о стихотворении Катенина «Песнь о Мстиславе Мстиславиче», разобрав это стихотворение в специальном «Письме к издателю» «Сына отечества» (1820. № 12).

Вскоре же, под псевдонимом Марлинского, Бестужев напечатал «Письмо к издателю» «Благонамеренного» (1820, март, № VI), где сообщал о своем замысле собрать «литературную кунсткамеру», в которую он поместил, между прочим, перевод Катенина «Сон Гофолии». Однако саман идея кунсткамеры имела для Бестужева неожиданные последствия.

В самом начале 1821 года в «Невском зрителе» с «Письмом к г. Марлинскому» обратился «Житель Галерной Гавани» (псевдоним О. Сомова), предлагая поместить в сго кунсткамеру между литературными уродцами «немецко-русскую балладу» «Рыбак». 1 Вокруг этого письма Жителя Галерной Гавани, который ядовито критиковал стихотворение Жуковского, развернулась целая полемика. На защиту Жуковского и с ответом Жителю Галерной Гавани выступил сначала Булгарин, 2 затем Н. Тарасов-Белозеров (Воейков); 3 на защиту Жуковского с особым стихотворением выступил молодой поэт Я. Ростовцев. 4 Бестужев, конечно, совершенно не рассчитывал, что в числе литературных уродцев могут оказаться стихотворения Жуковского. Изобретатель кунсткамеры не мог сочувствовать той расправе, которая была учинена в «Невском зрителе» над балладой Жуковского. Он вынужден был объясниться и снова под псевдонимом Марлинского напечатал письмо к издателю «Сына отечества», в котором прямо ваявил, что ничего общего не имеет с хулителем Жуковского. «Он (т. е. Житель Галерной Гавани) весьма ошибся в расчете, — писал Марлинский. — Балладу поместил я в число образцовых переводов, а критику на нее между уродцами». 5

^{1 «}Невский зритель» 1821, ч. V, янв., стр. 56 — 57.
2 «Сын отечества» 1821, ч. 68, № 9, стр. 61 — 73.
3 Там же, 1821, ч. 68, № 11, стр. 195 — 196; ср. «Невский зритель» 1821, ч. V, март, стр. 310 — 316.
4 «Сын отечества» 1821, ч. 68, № 12, стр. 232 — 233 («К зоилам поэта»).
5 «Сын отечества» 1821, ч. 68, № 13, стр. 263 — 265.

Подобным заявлением Бестужев совершенно определенно выразил свою солидарность с направлением творчества Жуковского, развивавшегося под знаком нового романтического направления.

С начала 1820 года Бестужев состоял действительным членом СПб. Общества любителей словесности, наук и художеств, руководимого А. Е. Измайловым, а в конце того же года (15 ноября) вступил в члены Вольного общества любителей российской словесности, возглавлявшегося Ф. Н. Глинкой. Участие в этих двух обществах характеризует литературную позицию Бестужева и разъясняет то, каким образом он вошел в ряды сторонников романтизма.

Ко времени вступления Бестужева в Общество любителей словесности, наук и художеств оно давно уже перестало быть проводником политического радикализма, каким было прежде, а ведущую роль играла в нем теперь умеренная группа во главе с А. Е. Измайловым, подменявшим серьезные общественные вопросы вопросами благотворительности и «легкой» сатирой нравов. Для Общества, целиком захваченного в это время влиянием карамзинистов, характерен был политический индиферентизм, что прекрасно и отражал печатный орган Общества под характерным названием — «Благонамеренный».

В течение 1820 года Бестужев сотрудничал в «Благонамеренном». причем некоторые из произведений, которые он печатал в журнале, предварительно читались на собраниях Общества. Так, на одном из собраний читалось «Подражание первой сатире Буало» (в первой половине 1820 г.), которое, жотя и было одобрено Обществом, в частности А. Х. Востоковым, разбиравшим стихотворение, - в «Благонамеренном» все же не появилось вероятно в силу цензурного запрещения. На собрании Общества читалось стихотворение «К некоторым поэтам» (8 апреля 1820 г.), где Бестужев ставил поэтам в вину ложный вкус, невежество, подражательность и непризнание настоя. ших русских писателей, начиная от Державина и кончая Жуковским. Рассуждение «О вкусе (Из Кюльса)» тоже было прочитано на собрании Общества (27 мая 1820 г.). Но борьба за «вкус», которую повел Бестужев в Обществе и на страницах «Благонамеренного», очевидно, не во всем совпадала с тенденциями руководителей Общества. Дело в том, что выступления Цертелева с издевательским разбором стихотворений Жуковского, а еще ранее стихотворений Лельвига явились предвестием все возрастающей вражды «Благонамеренного» к романтизму. И действительно, вскоре же позицпи журнала все ярче определяются как позиции антиромантические, а с 1822 года журнал начинает систематическое преследование поэтов «новой школы» — Дельвига, Баратынского и др. Бестужев, формально не разрывая с Обществом, с 1821 года фактически прекращает сотрудничество в «Благонамеренном». Наоборот, в Вольном обществе любителей российской словесности, руководимом Ф. Н. Глинкой и издававшем «Соревнователь просвещения и благотворения», деятельность Бестужева явно усиливается. Именно в этом Обществе, ставшем объединением будущих декабристов и одним из центров романтического направления, Бесгужев находит близкую себе среду. Здесь расширяется круг его знакомств и литературных связей. Вместе с тем упрочивается и литературная репутация Бестужева.

В 1821 году была напечатана сначала в «Соревнователе» и «Невском зрителе», а затем явилась отдельным изданием первая крупная вещь Бестужева — «Посядка в Ревель». В основу книги был положен материал реальных впечатлений и наблюдений автора, совершившего поездку в Прибалтику. В литературном отношении книга подготавливалась критическими и полемическими статьями Бестужева, его фельетонами и стихами. «Поездка в Ревель» была обработана в стернианской манере, с обилием каламбуров, сравнений и тем острословием, которое составляло отличительную особенность критики и полемики Бестужева. Продолжив традицию жанра путешествий Дюпати — Карамзинского типа, Бестужев обновил этот жанр вводом стихов, включенных в прозаический текст без всякой особой мотивировки. Уже самое первое письмо «Поездки в Ревель» открывалось стиховым эпиграфом автора:

Желали вы — я обещал, Мои взыскательные други, Чтоб я рассказам посвящал Минутных отдыхов досуги И приключения пути Вам описал, как Дюпати.

В «Поездке в Ревель» стихи появляются не только на ударных местах (таково, например, описание Нарвского водопада, сделанное под несомненным влиянием державинского «Водопада»), но зачастую прозаический текст совершенно свободно, как в дружеском письме, переходит в стяхи, а затем опять следует прозаический текст. Исследователями уже отмечено, что «в русской литературе такая свободная перебойная манера связяна с эпистолярным стилем и в путешествии Дюпати—Карамзинского типа использована впервые». В Эпистолярная обработка «Поездки в Ревель» давала возможность не только ввода стихов, обращений к друзьям, но также многообразных рассуждений на исторические, этнографические и литературные темы. Известно, что один из эпизодов, отмеченный в «Поездке в Ревель».

¹ Т. А. Роболи Литература «путешествий». Сб. «Русская преза», под ред. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова, Л., 1926, стр. 65.

явился сюжетным зерном поздпейшей повести Бестужева «Ревельский турнир». Рассуждение о критике, которое мы находим в «Поездке в Ревель». было своеобразным итогом критической деятельности Бестужева и его программой на будущее.

В холе борьбы за романтизм серьезное принципнальное значение имела полемика 1822 года о книге Греча «Опыт краткой истории русской литературы». Книга Греча поднимала множество вопросов, но основной предпосылкой полемики и ее центром явилось установленное Гречем разграничение двух направлений русской литературы — ломоносовского и карамзинского. В полемике приняли участие Катенин, сам Грсч, Бестужев, Жандр и др. Бестужев прежде всего высказался по поводу самой книги Греча. 1 а затем вступил в спор с давним своим противником Катениным по поводу его статьи об «Опыте краткой истории русской литературы». 2

Все теоретические суждения Катенина, начиная от его соображений в защиту высокого стиля и кончая трактовкой романтизма и горделивой авторской самооценкой, подверглись сокрушительной Требование критике Бестужева. высокого стиля на перковно-славянский язык Бестужев отрипал, призневая только возможность и целесообразность использования церковнославянизмов в легком слоге. Совершенно неприсмлемым для Бестужева было и катенинское понимание романтизма. Хотя Бестужев, подобно Катенину, и не дал собственного определения романтизма, но из его замечаний видно, что романтизм заключался для него не в новизне кудожественной формы, как это было для Катенина, а прежде всего в темах и содержании творчества. Руководствуясь этим положением, в заключении своей статьи, посвященной Катенину, Бестужев упичтожающе отзывался о его стихах.

От всяких возражений Бестужеву Катенин уклонился, и, таким образом, полемика была закончена без какого-либо положительного итога. Через несколько месядев Катенин был выслан из Петербурга и отошел от литературной жизни. Вследствие этого то течение в романтизме, которое он представлял, оказалось лишенным руководства до 1824 года, когда были напечатаны статьи Кюхельбекера в «Мнемозине». Что касается Бестужева, то после полемики 1822 года его литературная репутация еще более укрепилась.

В мае 1822 года Бестужев знакомится с Рылеевым, автором уже многих дум, печатавшихся в журналах. Вскоре же Бестужев со-

Почему? (Замечания на книгу «Опыт краткой истории русской литературы»)—
 «Сын отечества» 1822, ч. 77, № 18, стр. 158 — 168.
 Замечания на критику, помещенную в 13-м № «Сына отечества», касательно
 «Опыта краткой истории русской литературы», — Там же, ч. 77, № 20, стр. 253—269.

вместно с Рылеевым начинают готовиться к изданию «Полярной звезды» и сразу же обращаются за сотрудничеством к Пушкину. В первом письме к Бестужеву, отправленном из Кишинева 21 июня 1822 года, Пушкин назвал Бестужева «представителем вкуса и верным стражем и покровителем нашей словесности». В том же 1822 году Вольное общество любителей российской словесности избирает Бестужева цензором библиографии на 1823 год и тогда же «Северный архив» в своем объявлении упоминает о Бестужеве как о литераторе, «известном своими остроумными критиками».

2

В «Полярной звезде на 1823 год» Бестужев поместил две повести — «Роман и Ольга» и «Вечер на бивуаке», а затем критический обзор, которым открывался альманах, - «Взгляд на старую и новую словесность в России». Альманах вышел в свет почти одновременно с появлением боевой статьи Вяземского о «Кавказском пленнике». где было заявлено об успехах в России романтической поэзии. Вяземский в это время уже пропагандировал Байрона и вкладывал в понятие романтизма гражданское и революционное солержание. Статья о «Кавказском пленнике» была написана Вяземским уже с определенной политической тенденцией. Обзор Бестужева носил иной характер: имя Байрона не упоминалось здесь вовсе, так же как не было никаких упоминаний и о романтизме. Тем не менее, по духу и направлению обзор принадлежал к «новой школе». Главную часть обзора занимали характеристики писателей «последнего пятнадцатилетия», причем и сам Бестужев говорил о «новой школе», относя к этой школе Жуковского, Батюшкова и Пушкина. Выразительно и живо рисовал Бестужев в своем обзоре положение современной драматургии и прозы. Область русского театра Бестужев сравнивал с «бесплодным полем», а область прозы со степью. Безлюдие в этой последней области он объяснял «младенчеством просвещения». «Гремушка занимает детей прежде циркуля, - писал Бестужев, - стихи. как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов, и не терпит повторений». В числе важных причин, обусловивших печальное состоябие прозы, Бестужев указывал на «односторонность, происшедшую от употребления одного французского и переводов с сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские

^{1 «}Сын отечества» 1822, ч. 82, № 49, стр. 115 — 126.

безделки». Бестужев начал свой обзор с призыва изучать «древпости нашего Слова, дабы в них найти черты русского народа, и тем дать настоящую физиогномию языку». Кончался обзор точно так же пропагандой родной речи.

Неудовлетворительное состояпие литературы Бестужев объяснял педостатком образования. Учебные заведения «составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России», — заявлял он. «Феодальная умонаклонность многих дворян» также мешает распространению просвещения. Дворянской молодежи, не желающей учиться, Бестужев противопоставлял офицерство, имея в виду, конечно, тот общественный круг, с которым он был сам связан. «Должно сказать, что молодые офицеры, наиболее, в сравнении с другими, основательно учатся». «Впрочем, — добавлял Бестужев, — у нас нет европейского класса ученых, ибо одно счастие дает законы обществу, а наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе не богаты». Равнодушие общества к науке и литературы однако «главнейшая причина есть изгнание родного языка из обществ и равнодушие прекрасного пола ко всему, на оном писанному».

В разборе обстоятельств, объясняющих неудовлетворительное состояние литературы, Бестужев еще не встал на путь общественноисторического и политического анализа, который будет им найден позже. Когда он говорил о «равнодушии прекрасного пола» ко всему написанному на русском языке, когда заявлял, что «одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы», он оставался связанным со школой Карамзина и прямо повторял мысли карамэннской статьи «Отчего в России мало авторских талантов?» Вместе с тем обзор Бестужева выразил настроения и будущего декабриста. Они сказались в остроте и резкости некоторых суждений (например, о Кантемире, Фонвизине и Крылове), в призывах к народности, истолкованной уже не в плане карамзинского космополитизма. Заключение обзора, где было упомянуто о «тумане, лежащем теперь на поле русской словесности», содержало в себе прозрачный намек на тяжесть тогдашних политических условий, которые определяли развитие литературы. «Ты умел в 1822 году жаловаться на туманы нашей словеспости», - писал Бестужеву Пушкин три года спустя (в начале июня 1825 г.).

Из ряда журнальных откликов на бестужевский обзор паиболее интересной была критика обзора, появившаяся в «Русском инвалиде», на которую отвечал сам Бестужев. Статья Бестужева под загла-

вием «Ответ на критику Полярной Звезды, помещенную в 4, 5, 6 и 7 нумерах Русского Инвалида 1823 года» 1 представляет собой существенно важное дополнение к его обзору.

В этой статье Бестужев разъяснил, что понимает он под «романтическим родом» в поэзии и как относится к думам Рыдеева, эт оценки которых в обзоре он уклонился. Продолжая развивать свою мысль, высказанную еще в полемике с Катениным о том, что сущность романтизма заключается не в формах, а в содержании творчества, Бестужев не отождествлял «новой школы» в поэзии с романтическим направлением. По мнению Бестужева, «Жуковский принадлежит к школе романтической, но более, как переводчик, нежели, как автор; что же до Батюшкова, то в романтическом роде у него написаны только три пьесы: «Переход через Рейн», «Пленный» и «Замок в Швеции». . . Критик «Русского инвалида» высказывал сомнение в новаторстве Рылеева и считал, что жанр дум заимствован из польской литературы. Бестужев опровергал эту мысль, настаивал на том, что «думы есть общее достояние племен славянских», что они выросли на почве устного народного творчества и что самый жанр думы «поместить должно в разряд чистой романтической Определяющим признаком думы, по Бестужеву, являлась национальноисторическая тема в субъективно-лирической трактовке, особенно подчеркивал: «Дума не всегда есть размышление исторического лица, но более воспоминание автора о каком-либо историческом происшествии или липе, и нередко олицетворенный об оных рассказ». Во всех этих утверждениях Бестужева существенно, вопервых, указание на внутреннее родство так называемых «исторических элегий» Батюшкова и дум Рылеева, во-вторых — отнесение тех и других к романтической поэзии.

Романтизм для Бестужева раскрывался, следовательно, исключительно в содержании творчества — в постановке национально-исторических гражданских тем и в субъективно-лирической их разработке. Таковы были теоретические представления Бестужева о романтизме, которым отвечали, между прочим, и его собственные творческие поиски.

Рылеев начал работу над думами летом 1821 г., а Бестужев в то же самое время, еще не будучи знаком с Рылеевым, был уже одушевлен мыслью о поэтическом воссоздании образов прошлого. В «Листке из дневника гвардейского офицера» (1821) Бестужев сделал характерное признание, что его гений

... любит с пламенной мечтой В туманной древности носиться,

^{1 «}Сын отечества» 1823, т. 83, № 4, стр. 174 — 190.

la King.

Medn du My 38 Numo mays Montin, Tomums neransus 3 syrute (mpynte, Celo riogo Cryxaro Kronumo. Nportules mpu discompa co Monobunos, Nonether Bashown Coxonunon Oregenumo Cera Cagosunon Normy as mandy muchus famo? beginspus, romo ne os names bont, Tomos exaction Romen Bo Cen 10 dont; Ho moskuo neute conjadamo Br Oxobayo Epyconu degnoneguos;-Hobbps stut B smone spyse modywor. Bozmospino ofcegos Gyoson Alexegues Mepromens Trepersbatis.

Автограф А. А. Бестужева, сохранившийся в архиве Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и находящийся ныне в фундаментальной библиотеке Ленинградского государственного университета.

И вот она, покинув плен, Былого жизнью оживится, И жспять течет река времен; И снова край отчизны эрится Богатырями населен.

В том же «Листке из дневника гвардейского офицера» на основе летописного рассказа Бестужев дал краткий очерк Ледового побоища и воссоздал в стихах героический образ Александра Невского, который «оплотом сил врагов остановил». серьезно углубляется в русскую историю, изучает исторические источники и создает свою первую «старинную повесть» «Роман Ольга». И позже, так же как Рылеев в думах, Бестужев обращался за темами для своих повестей к русской старине. Это было последовательным осуществлением романтических идей, которые Бестужев развивал. По духу и направлению своего творчества он исключительно близко сошелся с Рылеевым, в нии с которым углубил и свои политические взгляды. В теоретическом отношении единомышленником Бестужева стал Вяземский. явившийся в России первым пропагандистом романтизма в том именно истолковании, какое принял Бестужев. Для всех трех — Бестужева, Рыдеева и Вяземского - романтизм оказадся знаменем свободолюбия и общественного протеста.

Рост политических интересов и свободолюбивых настроений Бестужева явственно виден из его второго критического обзора, открывшего «Полярную звезду на 1824 год»— «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года».

Обсуждение первого бестужевского обзора в критике показало, что наиболее острым и элободневным вопросом из всех вопросов, поставленных Бестужевым, был вопрос о «причинах, замедляющих успехи нашей словесности». Споры по этому вопросу продолжали итти еще в 1823 году, и Бестужев в новом критическом обворе живо откликнулся на них, уточнив и развив свою точку эрения. Карамзинская мысль о пристрастии общества ко всему французскому и о равнодушии «прекрасного пола» к родному языку звучала анахронизмом и теперь явно не годилась для объяснения состояния литературы. Бестужев направлиет свое внимание на общественно-исторические и политические условия, определяющие литературное развитие и влияющие на него.

В той форме, которая была возможна для подцензурной печати, Бестужев высказывал недовольство «сущностью», т. е. тогдашней действительностью, и призывал к объединению дела литературы с задачами освободительной борьбы. Поднимая голос за обществен-

ное значение литературы, Бестужев вспоминал эпоху Отечественной войны. противопоставлял современности. «Тогда слова: Отечество и слава электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, передетал из рук в руки с восхищением. Похвальные песни, плохи или хороши они были, раздавались по улицам и им рукоплескали в гостиных;— одним словом, все тогда казалось прекрасным, потому что все было истинным». Совсем иное положение наступило в послевоенное время. Общество погрузилось в «бездейственный покой», и «вкус ко всему отечественному» был брошен, как мода. «Страсть к галлицизмам» обусловила «охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам, начавшим возникать в это время». Наконец, в 1823 году, наступило «совершенное оцепенение словесности». Нарисовав столь безрадостную картину, Бестужев добавлял при этом: «Так гаснет лампада без течения воздуха, так заглушается дарованье без ободрений!»

Важнейшей причиной, замедлившей ход словесности, по мнепию Бестужева, являлось отсутствие «течения воздуха», отсутствие «ободрений». В данном случае речь шла, конечно, не о монаршем покровительстве или покровительстве меценатов, а об «ободрениях» в смысле благоприятной общественной обстановки для творчества писателей.

«Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» появился в свет в конце декабря 1823 года, а в начале января следующего года Рылеев принял Бестужева в Северное тайное общество. Бестужев в эту пору — блестящий адъютант герцога Вюртембергского, бывающий в большом петербургском светс. В то же время он начинает вести подпольную реколюционную работу, Совместно с Рыдеевым в начале 1824 года Бестужев создает агитационные цесни «Ах тяжко мне», «Ты скажи говори» и др. Эти песни явились одним из самых первых опытов революционной литературы с агитационно-пропагандистским назначением. «Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками», - вспоминал об агитационных песнях Николай Бестужев. В основу своих песен Рылеев и Бестужев положили готовые формы крестьянского, солдатского и городского фольклора, заполнив их политически-элободневной тематикой. Одна из лучших песен, «Ах тяжко мис», была написана на голос популярного романса Нелединского-Мелецкого, романса, вошедшего в народ. Простыми словами говорилось в этой несне о торговле крепостными людьми, «как скотами», о непосильных налогах, о продажности суда и духовенства и пр.

Северное тайное общество, куда вступил Бестужев, весной 1824 года входило в новую фазу своего развигия. В это время на-

чалось идейное расслоение общества, постепенный отход правых элементов от руководства революционной работой и оформление левого крыла, руководителем которого стал Рылеев. Под влиянием Пестеля, посетившего в это время Петербург, Рылеев переходит с конституционно-монархических позиций к республиканским и демократическим взглядам, к якобинской программе «южан». Сторонником этих же взглядов и той же программы становится и Бестужев.

Подпольная революционная работа у Бестужева, как и у Рылеева, сочеталась с литературной деятельностью, которая не только не ослабевала, но ширилась.

1824 год, знаменательный год в биографии Бестужева, был вместе с тем значительным и важным голом в литературном развитии. От «совершенного оцепенения», какое испытала литература в 1823 году, теперь начался постепенный подъем, непрерывно нараставший и в 1825 году. Одним из проявлений начавшегося подъема явились критические споры этой поры, в частности полемика о романтизме, разгоревшаяся сначала по поводу предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» и по поводу самой поэмы, а затем по поводу боевой статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзин, особенно лирической, в последнее десятилетие» («Мнемозина» 1824, ч. II). Ни в одной из этих полемик Бестужев не принял участия, но его теоретические представления о романтизме не могли оставаться неизмепными — они углублялись и уточнялись. К 1825 году, после выступдения Кюхельбекера в «Мнемозине», ослабевает былая враждебность между романтиками карамзинской школы с одной стороны и единомышленниками Катенина — с другой. Хотя Кюхельбекер и был глашатаем того течения в романтизме, которое до него представлял Катенин и которое было неприемлемо для Бестужева, тем не менее в статье Кюхельбекера многое оказалось ему близко. Бестужев не мог не сочувствовать той борьбе с подражательностью всякого рода, с которой выступил Кюхельбекер; не мог не сочувствовать Бестужев и его проповеди свободной национально-самобытной поэзии. Гражданский пафос статьи Кюхельбекера и обоснование им задач поэта как пророка и воинствующего борца - все это отвечало чаяниям Бестужева. Знаменательно, что Бестужев не только знакомится с учителем и вдохновителем Кюхельбекера Грибоедовым (23 июня 1824 г.), но вскоре же и сближается с ним на почве общественных и литературных интересов. «С Грибоедовым, как с человеком свободомечтал о желании преобразования Росмыслящим. Я нередко сии». — показывал Бестужев следственной комиссии по делу декабристов. Несколько поэже Бестужев устанавливает дружеское общение

и с Кюхельбекером, который впоследствии был принят Рылеевым в Северное тайное общество.

Единство политических устремлений Бестужева с Грибоедовым и Кюхельбекером, несомненно, способствовало их сближению и в вопросах литературы. Былые расхождения потеряли свою остроту, хотя они все же и оставались. Так, никогда, конечно, Бестужев не мог сойтись с Грибоедовым и Кюхельбекером в их увлечении «славянщиной», особую позицию занял Бестужев и по отношению к тогдашнему «властителю дум» Байрану.

Своим критическим отношением к Байрону Грибоедов и Кюхельбекер уже завершали целую полосу русского байронизма, тогда как у Бестужева, равно как у Рылеева, увлечение Байроном только начиналось. Вот почему при первой же встрече с Грибоедовым Бестужев был поражен его замечанием, что в нынешний век произведения Байрона ценятся «много свыше достоинства».

С начала 1824 года Бестужев приступил к занятиям английским языком и очень скоро добился того, что стал читать в подлиннике Байрона, Вальтер-Скотта, Шекспира. Изучение языка и чтение английской литературы тотчас же получило отражение в литературной деятельности Бестужева. В «Соревнователе просвещения и благотворения» он печатает переводы из английских журналов; Бестужева особенно привлекал общественно-исторический материал, и он брал отрывки для переводов, близкие по содержанию его политическим взглядам и настроениям.

В тесной связи с занятиями Бестужева английским языком и литературой находится и его рецензия на вторую часть книги «Русская антология, или образчики русских поэтов» Джона Боуринга. 1 Существенно отметить возражения Бестужева на тенденциозное Боуринга. пытавшегося доказать подражательный характер русской литературы. После выступления Кюкельбекера в «Мнемозине» борьба за самобытность русской литературы стала боевой темой критики. Кюхельбекер особенно восстал против Жуковского, как зачинателя подражательной поэзии «туманов» и «призраков», тоски и уныния.

Мнения Бестужева в его ответе Боурингу во многом перекликались с мыслями Кюхельбекера. Так, вслед за Кюхельбекером, Бестужев отрицательно отоявался об «аллегорической и, так сказать, неразгаданной поэзии», которую ввел Жуковский. Из поклонника Жуковского, каким был Бестужев еще так недавно, он стал суровым критиком. Отрицательный взгляд на поэзию Жуковского Бестужев еще более

^{1 «}Литературные листки» 1824, ч. IV, № XIX и XX, стр. 32-45.

резко, чем в печати, сформулировал в не дошедшем до нас письме к Пушкину, вызвавшем его возражения («Что ни говори, Ж[уковский] имел решительное влияние на дух нашей словесности...»).

Однако Бестужев был энергично поддержан Рылеевым. Требуя от поэзии высокого гражданского содержания, Рылеев, так же как Бестужев и Кюхельбекер, осуждал мистическое направление творчества Жуковского.

Рецензия Бестужева об антологии Боуринга хронологически предшествовала его последнему критическому обзору «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («Полярная звезда на 1825 год»). В этом обзоре, главной темой которого был вопрос о состоянии русской литературы, Бестужев, подобно Кюхельбекеру, ратовал за национальную самобытность и выступал против всякого рода подражательности.

Если в предшествующих своих обзорах Бестужев констатировал только неудовлетворительное состояние литературы, то теперь он определенно и резко выдвигает тезис, что в России есть критика, но нет литературы. Тезис об отсутствии у нас литературы высказывался еще Вяземским в статье о «Кавказском пленнике» (1822 г.), но Бестужев обосновал этот тезис исходя из более глубоких общественно-исторических и политических предпосылок.

Констатирование болезненного, «ненормального состояния» русской общественной жизни — основное в рассуждениях Бестужева. Критерием общественного прогресса для него были интересы «политики», т. е. в переводе с эзоповского языка подцензурной печати — интересы освободительного революционного движения.

критикой общественных отношений отвечал Бестужев на поставленный им вопрос: «отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных». Касаясь всякого рода «ободрений» писательскому труду и разумея в данном случае «ободрения» монарха пли мененатов. Бестужев с удовдстворением констатировал, что таких «ободрений» в России нет. «Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хвороста и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе!» «Гении всех веков и народов, я вызываю вас!» — восклицал Бестужев. «Я вижу в бледности изможденных ваших — расцвет бессмертия! или недостатком лиц Скорбь есть зародыш мыслей, уединение их горнило». В соответствии со всем ходом своих рассуждений Бестужев и определял делтельность гения как героическую, как миссию общественного служения, а в качестве великих образцов для писателей указывал на «просветителей народов», приводя в пример Альфиери и Байрона, связавілих свое литературное дело с участием в освободительной революционной борьбе.

Полобно Кюхельбекеру, Бестужев полагал, что истинная поэвия не может не быть свободолюбивой, и рисовал тот же романтический образ поэта-избранника, преобразующего действительность, который представлядся и Кюхельбекеру. При таком понимании миссии поэта область искусства раскрывалась как область «идеалов», а сам поэт становился носителем этих идеалов. Совершенно естественно поэтому, что конкретные критические суждения и оценки Бестужева опредекритерием возвышенных чувств и мыслей. Так, в первой главе «Евгения Онегина» Бестужев выделял те стихи, «где говорит чувство», «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества». Особенно дорог Бестужеву оказался предпосланный первой главе «Евгения Онегина» «Разговор книгопродавца с поэтом», который порывами человека. чувствующего благородными человеком». Вершиной же творческих достижений Пушкина Бестужев считал не первую главу «Евгения Онегина», а Именно в этом произведении, по его мнению, гений Пушкина, «откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают моднийные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природою». 1

Из других литературных явлений 1824 и начала 1825 года, упомянутых в обзоре Бестужева, интересен его восторженный отзыв о «Горе от ума». Намекнув на мнения по поводу «Горя от ума» литературных староверов и скептиков, Бестужев уверенно утверждал, что «предрассудки рассеются и будущеє оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных».

Критический обзор Бестужева стал известен читающей публике весной 1825 года. В эту пору «шумела» в обществе распространявшаяся в списках комедия Грибоедова, в рукописи были известны
«Цыганы», была издана первая глава «Евгения Онегина», только что
вышло отдельное издание «Дум» и «Войнаровского» Рылеева. То
было время большого общественного возбуждения. Обзор Бестужева
явился настоящим событием и одним из ярких литературных предвестий 14 декабря 1825 года. Реакционеры и скептики напали па
Бестужева, литераторы, связанные с кругом северных декабристов,
приветствовали его.

После издания «Полярной звезды на 1825 год» Рылеев и Бестужев приступили к подготовке нового альманаха— «Звездочка на

¹ Ср. отзыв Бестужева о «Цыганах» в письме к Туманскому от 15 января 1825 г. Бестужев заметил здесь, что «Цыганы» Пушкина «выше всего, что он писал доселе».— «Киевская старина» 1899, № 3, стр. 299— 300.

1826 год», выпустить который им уже не удалось. Смерть Александра I явилась сигналом для подготовки вооруженного восстания. В воспоминаниях декабристов Бестужев рисуется «горячей головой», «запальщиком», а Батеньков называл его человеком, «способным в глазах на все крайпости».

14 декабря под командованием Бестужева был выведен на Петровскую площадь Московский полк. После того как окончательно выяснилось, что восстание потерпело поражение, Бестужев сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и был арестован. В письме к Николаю I из Алексеевского равелина Бестужев с удивительной смелостью заявлял, что если бы к декабристам «присоединился Измайловский полк, он бы принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове вертелся уже и план». Письмо Бестужева к Ныколаю I, написанное во время следствия, замечательно отчетливым пониманием причин необходимости изменения общественного строя в России. Особенно подчеркивались в инсьме ужасы крепостного права.

По приговору Верховного уголовного суда, Бестужев должен был быть отправлен в каторжные работы на 20 лет; срок был сокращен затем до 15 лет. После вынесения приговора Бестужев сначала был заключен в крепости «Форт Слава» в Финляндии, потом его отправили на поселение в Якутск и наконец, по личному ходатайству перед царем, он был определен рядовым в Кавказский корпус.

Ω

В показаниях следственной комиссии, говоря о своих товарищах по Северному тайному обществу, Бестул: в дал, между прочим, карактеристику и Рылеева. По его словам, это был «один из самых ревностных членов общества, человек весь в воображении... Оп веровал, что если человек действует не для себя, а на пользу ближних, и убежден в правоте своего дела, то, значит, само провидение им руководит». Бестужев признавался, что такое мнение делили с Рыдеевым многие члены Северного общества и, консчно, прежде всего он сам. В своей революционной деятельности наиболее убежденные из декабристов видели предначертание судьбы, а история представлялась им как непреоборимая сила, приводящая роковым образом и борьбе «свободы» и «самовластья». При этом образ гражданина и борца сливался у декабристов с образом поэта-избранника. Так, Рылеев утверждал гражданское назначение поэзии, а Кюхельбекер писал о поэте как о «бренном сосуде той божественной силы, которая обновляет и возрождает человечество». В понимании истории и политики Рылеев, Кюхельбекер, а вместе с ними и Бестужев оставались идеалистами-мечтателями и романтиками. На романтической основе росли героические и мужсственные темы декабристской поэзии, к этой же основе восходят не менее характерные для нее мотивы роковой обреченности и гибели. Подобного рода мотивами пронизаны и думы и «Войнаровский» Рылеева, и немногие его лирические стихотворения. Образ героя-человека, воплощенный в поэзии Рылеева, это образ трагического героя, идущего к своему роковому концу. И когда Рылеев был казнен, все творчество его приобрело особую значительность и осветилось заново. Поэтические произведения Рылеева приобрели смысл пророческого предвидения его собственной гибели и, таким образом, оказались неразлучными с его биографией.

Бестужев, как никто другой, был исключительно близок к Рылееву. Он был единомышленником Рылеева, и их творческие искания совпадали во многом. Поэтому совершенно естественно, что после поражения восстания и после казни его вождей, когда Бестужев вновь взялся за перо, он обратился к идеям, темам и образам, так недавно вдохновлявшим автора дум и «Войнаровского». Подобло Рылееву, стремившемуся в историческом прошлом найти опору для своих свободолюбивых чаяний, и Бестужев вызывает образы седой древности, чтобы убедиться в правоте этих чаяний. Но перед Бестужевым стоит теперь и другая задача — уяснить для себя смысл пережитой катастрофы и определить свои позиции в новых условиях. Эту задачу Бестужев ставит перед собой и решает так, как это мог сделать идеалист и романтик.

В 1826—1827 годах, заключенный в крепости «Форт Слава», Бестужев задумывает эдесь и частично осуществляет историческую повесть в стихах «Андрей Переяславский». Из пяти предположенных глав повести было написано только две, однако самый замысел, несомненно, был связан с попыткой Бестужева подвести итоги своему прошлому и осознать настоящее свое положение. Бестужев не изменил прежним свободолюбивым идеям, но теперь у него возникли иллюзии о возможности реформы сверху, теперь он был преисполнен належи на нового паря. Подобного рода надежды в 1826 году могли возникнуть и у Пушкина, написавшего свои «Стансы». Пушкин в то время, как известно, создал утопию, воплощенную в образе Петра I, реформаторскую деятельность которого он приводил как пример Николаю I. У Бестужева его иллюзии и надежды воплотились в образе Андрея Переяславского, меньшого сына Владимира Мономаха, прозванного за его личные качества Добрым.

В повести Бестужева перед нами идея прежних его произведепий, соввучная думам и поэмам Рылсева, — идея любви к отечеству. Но теперь эта идея осложнена новыми мотивами, характерными пля последенабрьской цоры. Власть может быть сильна только поллержкой и любовью народа. Княжение Андрея, как это показывает Бестужев, основано на взаимной любви народа и князя, на их взаимном понимания. Образу Андрея, посвятившего себя не славе, а «общественному благу», противопоставлены князья Всеволод и Святослав, а также боярин Любомир, которые руководствуются самым грубым эгоизмом. Сын Любомира, Световид, напротив, рисуется сторонником Андрея, восторженным поклонником правды и родины; вместе с Андреем он также противопоставлен отрицательным персонажам. Андрей — беззаветно храбр, и он не задумывается с опасностью для жизни броситься в единоборство с медведем, когда тот уже готов растерзать его подданного. Конечная дель стремлений Андрея — всеобщее братство и покой, именно такие, какими их мыслили декабристы. Подобно тому как герои дум и поэм Рылеева произносят декабристские монологи, так и Андрей в повести Бестужева говорит об «общественном благе» и его речи выдержаны в духе декабристской идеологической программы. Он ждет той радостной поры.

Когда на землю снидут вновь Покой и братская любовь, И свяжет радуга завета В один народ весь смертный род, И вера все пределы света Волной живительной сольет, Как море благости и света!

У Бестужева, как у Рылеева, стиль монологов исторических лиц и авторского повествования по существу не разнились между собой. В то время как Пушкин давно преодолел субъективно-лирический характер героя своих поэм и в «Ебгении Онегине» создал наконец объективного героя, объясненного общественной обстановкой и средой, — Бестужев, вслед за Рылеевым, утверждал в своем творчестве именно субъективно-лирического героя. Таков князь Андрей в повести Бестужева, таков же и Световид, в уста которого были вложены типично романтические признания:

Я возрастал; мои мечтанья Росли невидимо со мной. Мои любимые гулянья Бывали там, где мрак лесной, Где гребень гор возник порогом Пред небожителей чертогом, Куда носилася душа, Священным воздухом дыша

В повести об Андрее Переяславском Бестужев пойвел итоги своей прежней поэтической работе, и поэтому мы встречаем здесь мотивы и темы, занимавшие его с давних пор. В лирических монологах «Андрея Переяславского» развертывается, в частности, тема вечности и смерти, впервые намеченная Бестужевым в стихах из «Поездки в Ревель».

Во втором письме из Ревеля, под впечатлением снежной бури, заметавшей дорогу, Бестужев писал: «Не так ли, — думал я, исчезнем и мы?»

> Промчатся веки вслед векам За улетающим мгновеньем, И смерть по жизненным путям Запорошит наш след забвеньем!

Буквально те же стихи мы находим в одном из монологов князя Андрея:

> И лейтесь веки вслед векам За улетающим мгновеньем! И смерть по жизненным путям Запороши мой след забвеньем!

Тему вечности и смерти Бестужев вводит не только в монологи героя своей повести, он обращается к этой теме неоднократно, он дает ее, между прочим, на фоне романтического пейзажа. Заросшие диким плющом развалины монастыря; витязь, сидящий на гробовом камне одинокого кладбища; забытый череп, лежащий в траве и пыли, — эти образы и сопутствующие им размышления о славе и бренности всего земного чрезвычайно характерны для колорита «Андрея Переяславского».

Декабристская героика и гражданственность объединились у Бестужева с поэзией судьбы и рока, которая опять-таки сближает его с Рылеевым. Романтика того и другого была связана с трагическим восприятием жизни, причем в последекабрьскую эпоху трагические начала должны были развиваться и расти, заслоняя начала гражданственные. Так оно и было у Бестужева. Его личное бедственное положение изгнанника могло только усугублять трагический взгляд на жизнь, который, действительно, все больше и больше начинает окрашивать его творчество.

В стихотворении «Осень», написанном в якутской ссылке, Бестужев словно огвечает на рылсевские «Стансы», ему посвященные. Как и Рылеев в «Стансах», Бестужев варьирует песню Жуковского «Отымает наши радости», в которой Жуковский пересказал знаменитый романс Байрона «Stanzas for Music». Мотивы разочарования и

одиночества, звучащие в рылеевских «Стансах», у Бестужева еще более сгущены:

Между мною и любимого Безнадежное: прости!. Не призвать невозвратимого, Дважды сердцу не цвести. Хоть порой улыбка нежная Озарит мои черты: Это радуга наснежная На могильные цветы!

В стихотворении «Шебутуй», тоже написанном в Якутске, образводопада, низвергающегося в бездну, дается как символ собственной судьбы Бестужсва:

Тебе подобно, гордый, шумный, От высоты родимых скал, Влекомый страстию безумной, Я в бездну гибели упал.

В Якутске Бестужев зачитывался Байроном, изучал Томаса Мура и Гомера, а затем «плотно принялся за германизм», обратившись к занятиям немецким языком и к чтению произведений Гете и Шиллера в подлиннике.

Среди произведений Гете особенное внимание Бестужева привлекли восточные стихи, объединенные в «Западно-Восточном Диванс». В 1828 году Бестужев перевел оттуда несколько стихотворений, которые находятся в тесной связи с его собственной интимной любовной лирикой этой поры («Алине», «Лиде», «Ей»). Бестужев запимался изучением «Фауста», но вынужден был в конце концов признать, что Гете его «очень затрудняет». Наиболее близким поэтом попрежнему был для Бестужева Байрон и еще Томас Мур, которым он «услаждялся» в Якутске одновременно с Байроном.

В Якутске же Бестужеву довелось познакомиться и с шестью главами «Евгения Онегина». Если к первой главе романа, известной Бестужеву еще до 14 декабря 1825 года, он отнесся с полуосуждением, то последующие главы разочаровали его еще больше. «Первые две главы Онегина здесь есть, — писал Бестужев сестре из Якутска 10 июня 1828 года, — и я знаю уже их наизусть, хотя вовсе не завидую герою романа. Это какой-то ненатуральный отвар 18-го века с байроновщиной». Через несколько месяцев, 25 декабря 1828 года, под впечатдением дальнейших глав «Онегина», кончая шестой, Бестужев писал братьям из Якутска: «Мой мир ограничивается собственной головой, в которой родятся и гибнут сыны мечтаний. Я не пугаю

^{1 «}Памяти декабристов», т. П, Л., 1926, стр. 205.

строфами своими даже диких уток, как это делает Пушкин, который. мимохолом сказать, велет своего Онегина чем далее, тем хуже. В трех последних главах не найти полдюжины поэтических строф. Стихи игривы, но обременены пустяками и нередко небрежны до неопрятности. Характер Евгения просто гадок. Это бесстрастное животное со всеми пороками страстей. Дуэль описана прекраспо, но во всем видна прежняя школа и самая плохая догика». 1

Поридание того пути, по которому шел Пушкин в «Евгении Онегине», для Бестужева было, конечно, далеко не случайно. Он критиковал «Онегина» с романтических позиций, и отход Пушкина от романтизма казался ему возвращением к прошлому — к рассудочности XVIII века. Область поэтического творчества попрежнему представлялась Бестужеву областью возвышенных идеалов, а в Пушкине он видел, по его собственным словам, «бога моды настоящего», который «весьма мало имеет в себе идеального, т. е. романтического». 2

Шестая глава «Онегина» только подтвердила сложившийся у Бестужева взглял на Пушкина. В шестой главе романа Пушким иронизировал над романтизмом Ленского, с иронией вспомнив при этом и «модное слово идеал». Между тем, творческие искания Бестужева как раз не выходили из сферы «идеального» и «романтического». Об этом свидетельствуют такие его стихотворения периода якутской ссылки, как «Череп», «Финляндия», «Часы».

Еще до декабрьской катастрофы в «Северных пветах на 1825 год» появилось стихотворение Баратынского «Череп», характерное для намечавшихся путей поэта к позднейшей философской лирике. Плетнев необыкновенно расхвалил это стихотворение, сопоставив его со стихотворением Байрона «Надпись на кубке из черепа» и отдав преимущество в разработке одного и того же сюжета Баратынскому. «Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского, -писал Плетнев. — Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о черепе умершего человека. Наш поэт извлек из этого предмета поразительные истины». 3 Стихотворение Баратынского и отзыв о нем Плетнева тогда же привлекли внимание Бестужева. В письме к Пушкину от 9 марта 1825 года Бестужев признавался, что он «перестал веровать в талант» Баратынского, что Баратынский «исфранцузился вовсе» и что «в самом Черепе» Бестужев «не видит целого — одна мысль хорошо выраженная, и только. Конец — мишура. Байрон не захотел после Гамлета пробовать этого сюжета и написал забавную надпись, о которой так важно толкует Плетнев».

^{1 «}Русский вестник» 1870, кн. 5, стр. 248 — 249. 2 «Памяти декабристов», т. П. Л., 1926, стр. 206. 8 «Соревнователь просвещения и благотворения» 1825, кн. 1, стр. 107,

Через несколько лет Бестужев решил сам обратиться к сюжету Баратынского и вступить с ним в творческую полемику.

Гроб вопрошать дерзает человек — О, суетный, безумный изыскатель! «Живи, живой, тлей, мертвый!» — вот что рек Всего ясней таинственный создатель.

Его судьбам покорно гроб молчит. Зачем же нас несбывшееся мучит? Пусть радости живущим жизнь дарит, А смерть сама их умереть научит.

Так гласил конец стихотворения Баратынского, охарактеризованный Бестужевым как «мишура». И вот Бестужев создает свое стихотворение «Череп», в котором решительно возражает Баратынскому. В стихах Бестужева перед нами тот самый «суетный, безумный изыскатель», который дерзает вопрошать гроб и который явно осужден Баратынским. Но Бестужев становится на его точку эрения, говорит от его лица, а все стихотворение построено как цепь вопросов этого «изыскателя».

> Кончины памятник безгробный! Скиталец-череп, возвести: В отраду-ль сердцу ты повержен на пути, Или уму загадкой элобной?

Не ты ли мост, не ты ли— первый след Над океаном правды зыбкой? Привет ли мне, иль горестный ответ Мерцает над твоей ужасною улыбкой? и т. д.

Таким образом, Бестужев трактует тот же сюжет, что и у Баратынского, в субъективно-лирическом плане. Это и было для Бестужева осуществлением «идеального» и «романтического», что считал он самым главным в поэзии. ¹

Возможно, что в стихотворении «Финляндия» Бестужев тоже отталкивался от Баратынского, от его знаменитой элегии «Финляндия» (1820 г.) В стихотворении «Финляндия» у Бестужева в центре стоит опять-таки лирическое «я» поэта. Величаво-угрюмые вековые громады, эти «остовы природы», вещают поэту «дивные пророче-

¹ О формах интерпретации темы черена в романтической поэзии см. в впиге В. В. Виноградова "Стиль Пушкина", М., 1941, стр. 420—421.

ства». Так субъективно-лирически развивается у Бестужева тема вечности и смерти, развернутая еще в «Андрее Переяславском» и проходящая дальше в ряде стихотворений—в «Черепе», «Финляндии», «Часах».

В этих трех стихотворениях, и особенно в «Часах», Бестужев испытал несомненное влияние Державина: его «Водопада» и его оды «На смерть князя Мещерского». Именно у Державина, великого предтечи русских романтиков, Бестужев нашел не только идеи, но и образы для выражения того трагического понимания жизни, которое захватывало его все больше и больше в последекабрьский период.

Тема судьбы и смерти, проходящая сквозь лирику Бестужева, откликнулась также и в его прозе. Кюхельбекер, прочитавший в своем крепостном заточении повесть «Лейтенант Белозор», сочувственно отметил в ней «истинно высокие» места, как, например, следующее: «Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной Океана — во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его и вся природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям Гения веков, зиждущего незримо — неотклонимо». 1

Поэтическое творчество Бестужева последекабрьской поры в основных своих темах автобиографично. В стихотворениях Бестужева отразилась прежде всего его личная судьба, судьба декабриста, страдающего за погибшее для него дело жизни. В этом смысле едва ли не узловым произведением всей лирики Бестужева является его стихотворение «Сон», перекликающееся с «Арионом» Пушкина. В стихотворении Бестужева перед нами проходят два сменяющих друг друга образа: сначала — образ всадника, низвергающегося вместе с своим конем в пучину, затем - образ пловиа, которому суждено плыть в «убогом челне», «меж сокрушающих льдин» к пустыням и выбучим тундрам. Характерно, что сходный образ пловца, несущегося в челне средь бурных волн, занимал воображение Бестужева еще в пору создания «Андрея Переяславского». Тогда же им была найдена и та поэтическая формула, которой впоследствии воспользовался Лермонтов в стихотворении «Парус».

> Бушует бор, ущелье воет И вихорь цепь Карпата роет, И гром катится вдалеке. Но вот ярящимся Дунаем, То видим, то опять скрываем,

¹ Дневник В. К. Кюхельбекера, Л., 1929, стр. 198.

Ловец плывет на челноке. Белеет парус одинокой, Как лебединое крыло, И грустен нутник ясноокой; У ног колчан, в руке весло.

И в «Андрее Переяславском», и в своих лирических стихотворениях Бестужев говорил о своей собственной судьбе. Он сравнивал ее то с водопадом, низвергающимся в бездну («Шебутуй»), то с облаком, которое «бесславно, бесполезно» тает в небе. Стихотворение «К облаку» кончалось знаменательными строками:

Блести, лети на ветерке, Подобно нашей доле— И я погибну вдалеке От родины и воли!

«Родина и воля» — этими двумя словами Бестужев выразил то, что осталось навсегда содержанием его жизни и творчества.

Мотивы разочарования и одиночества, окрашивающие лирику Бестужева, самая тема судьбы и смерти, так остро осознанная им, — все это имело своим источником то свободолюбие, которое вдохновляло его в эпоху декабризма. Бестужев продолжал рваться к большим чувствам и героическим поступкам и тогда, когда, будучи в ссылке, он обречен был на бездеятельность. Вот тут-то и заключалось трагическое противоречие, которое вызывало Бестужева на философские раздумья, определяло смену его поэтических настроений и раскрывалось в лирике контрастами бури и покоя.

Перспектива гибели вдалеке от «родины и воли» навела Бестужева на сравнение своей судьбы с облаком, тающим в небе. Впоследствии о родине и свободе с несравнению большей силой и глубиной заговорил Лермонтов, но и он, подобно Бестужеву, однажды ассоциировал то и другое с «небесными тучками»:

Вечно-холодные, вечно-свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.

В стихотворении Лермонтова «Парус» («Белеет парус одинокий») мы видим не только прямое использование поэтической формулы Бестужева, но также новую вариацию контрастов бури и покол, так занимавших поэта-декабриста. Совершенно не случайно, что Лермонтов еще в ранней юности изучал поэзию Бестужева, причем отдельные стихи и строфы «Андрея Переяславского» он буквально перенес в своего «Кавказского пленника». 1

¹ О влиянии Бестужева на стихотворения Лермонтова см. в статьях Л. Семенова («Филологические Записки» 1914, вып. V) и Б. Неймана («Журнал Мин. Нар. Просв.» 1915, кп. IV).

Историко литературное значение Бестужева как поэта состоит в том, что в его стихотворениях подготовлялись идеи и образы лермонтовской поэзии с ее специфическими темами несостоявшейся, но искомой социальной деятельности. Как художник, явившийся продолжателем наследия декабризма в новых исторических условиях, Лермонтов продолжил и развил также поэтические искания Бестужева.

После 14 декабря 1825 года на пять лет Бестужев оказался совершенно оторванным от литературы. Только некоторые его стихотворения при помощи сестры удалось проводить в печать, начиная с 1829 года, а годом раньше, без имени автора и без его ведома, вышло в свет отдельное издание первой главы «Андрея Переяславского». Глава повести обсуждалась в критике, но никто не мог, конечно, и намекнуть на ее автора, соратника казненного Рылеева, бывшего соиздателя «Полярной звезды». Однако положение дел изменилось, когда в 1830 году за подписью А. М. в «Сыне отечества» была напечатана повесть Бестужева «Испытание». Повесть имела большой читательский успех, и Бестужев заново вошел в литературу. Вслед за «Испытанием» в петербургских и московских журналах пол псевлонимом «А. Марлинский» были напечатаны «Лейтенант (1831), «Фрегат Надежда» (1832), «Наезды» Никитин» (1834), «Мулла-Нур» «Аммалат-Бек» (1832), «Мореход (1836) и другие повести, военные рассказы и кавказские очерки. Бестужев попрежнему оставался ссыльным и солдатом, подвергавшимся постоянным преследованиям и травле со стороны начальства, но в то же время к нему пришла громкая писательская слава.

В творческом развитии Бестужева его стихи существенны в том отношении, что они помогли оформлению его теоретических понятий о романтизме. С другой стороны, стихи Бестужева оказались не безразличны для его работы в области прозы.

Еще в своих критических обзорах в «Полярной звезде» Бестужев настойчиво указывал на необходимость перехода от стихов к прозе. И сам Бестужев в преддекабрьские годы, после книги «Поездка в Ревель», создал несколько исторических повестей, проникнутых настроениями и идеями декабризма. Критика феодальных отношений средневековья, борьба с сословными привилегиями и защита прав человеческой личности, сочувствие вольному Новгороду и провозглашение идей патриотизма — все это очень ярко отразилось в повестях Бестужева. В таких повестях, как «Замок Нейгаузен», «Замок Венден» и «Замок Эйзен», Бестужев был еще связан с традициями «готического» романа тайн и ужасов, созданного А. Радклиф и очень популярного в начале XIX века. В «Ревельском турнире», в повестях из древнерусской истории («Роман и Ольга», «Измен-

АНДРЕЙ

князь переяславскій

повьсть.

М О С К В А.
Въ Типографии С. Селивавовскаго.
1828.

анк») Бестужев стремился прибличиться в Вальтер-Скотту и учился у него изображению бытовых, «домашних» картии истории. «Твой Турвир напоминает Турниры W. Scotta», - писал Бестужеву Пушкин в письме кония мая — начала июня 1825 года. Однако принципы подлинного историзма были в непримиримом прозиворечии с романтическим субъективизмом Бестужева. И это определило своеобразие его исторических повестей. На первом плане эдесь выступали археологические и бытовые подробности, исторические названия и имена. что же касаетси до съжета и героев -- они не имели ничего общего с историческим правдоподобием. Установка на эффектность и мелодраматичность ситуаций. условность сюжета, а вместе с тем напряженность и метафоричность языка - вог что прежде всего характеризует повести Бестужева. Пушкин в том же письме к Бестужеву конца мая — начала июня 1825 года, коснувшиеь его повести рпохи Смутного времени «Изменцик», замечал: «Брось этих немцев и обратись к нам православным; да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами -- это хорошо для поэмы байронической. Роман требует болтовни: высказывай все начисто». «Твой Владимир говорит языком немецкой драмы» и т. д.

Пушкин очень зорко уловил самые примечательные черты повестей Бестужева и указал на их связь с байронической поэмой. «Быстрые переходы» характерны были именно для байронической поэмы, обнажая остроту ее ситуаций, а «язык немецкой драмы» — это язык Шиллера и романтической поэмы, которым говорили одновременно и автор и его возвышенные герои. «Какая клевета черней этой правды? -- спрашивает герой повести Бестужева Владимир Сицвий. — Да, я брошен в снедь бессильной элобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею, для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!...» Эти слова, принадлежащие герою повести, стоят в необычайной близости к авторской речи. Точно так же жак в романтической поэме, в повестях Бестужева образ автора обрисовывался в языке не менее ярко, чем образы героев. Близость повестей Бестужева к байропической романтической поэме ощутима также в метафоричности языка, в иногочисленных сравнениях и наконец в лирических отступлениях, играющих в композиции повестей существенную роль.

Проза Бестужева 20-х годов была той «поэтической» прозой, которая сложилась на основе стиховой речи. В последекабрьские годы, пройдя через опыт романтической поэмы («Андрей Переяславский») и лирического творчества, Бестужев только развил и расширил свою склонность к «поэтической» прозе.

Поворот от стихов к прозе в 30-е годы был проявлением общего движения всей русской литературы от романтизма к поэзии действительности. Необходимость поворота от стихов к прозе совершенно отчетливо сознавал Пушкин, который, начиная с 1824—1825 годов, все больше и больше заботился о развитии прозы и который сам выступил в роли великого зачинателя реалистической прозы. В заметке 1828 года, написанной во время работы над седьмой главой «Евгения Онегина», Пушкин писал: «В эрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному». И в той же заметке Пушкин жаловался на то, что «прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем». На путь этой поэзии, «освобожденной от условных украшений стихотворства», т. е. на путь прозы, и стал Пушкин в 30-е годы. Переход от стихов к прозе у Бестужева носил принципиально иной характер:

Нужно заметить, однако, что и Бестужев прекрасно понямал, что обращение к прозе диктуется не индивидуальными склонностями того или иного писателя, но что это обусловлено ходом развития всей литературы. И Бестужев выступал в 30-е годы против «языка условленного, избранного», и он стремился «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию». Лозунг народности, выдвинутый Бестужевым в «Полярной звезде», привел его самого к пропаганде «простонародной» поэзии и ее языка, к требованию изучать устное народное творчество. Совершенно не случайно, что, будучи в Якутске, Бестужев предается изучению фольклора и языка якутов, а также тех этнографических вопросов, которые были связаны с их бытом. На Кавказе, где Бестужеву довелось провести с лишком семь лет, он прекрасно ознакомился с природой и бытом этого края, внимательно изучал кавказские наречия и кавказскую этнографию. Все это, несомненно, расширяло диапазон его творчества и, казалось бы, толкало к преодолению романтической субъективности. Однако на деле оказалось не так. Изучая и пропагандируя фольклор, Бестужев стремился объединить народность языка с «занимательностью» и романтическими «цветами слога». «Да и кто у нас пишет? — спрашивал он в письме к Н. А. Полевому 17 января 1832 года. — Или жители гостиных, которые раз в год прислушиваются к языку народа в балаганах, и рады-рады, что выудят какое-нибудь пошлое выражение, с которым носятся, словно с писаною торбой. Это у них родимое пятнышко на маске. Весь прочий язык — сметана с разных горшков: что-то кисло-сладкое, плавающее в сыворотке бездарности, и все это посыпано свинцовым сахаром личности или солодковым корнем лести: прекрасное лекарство от кашля, не от скуки. Или такие люди, которым, конечно, нечего лазить в карман за жар чевными выражениями, за то напрасен и труд дать этим речам занимательность». 1 Так стремление к народности языка совмещалось у Бестужева с презрительным отношением к «харчевным выражениям». Бестужев считал, что народность не противоречит «занимательности» и поэтому он «с умыслом, а не по ошибке, гнул язык на разные лады, брал готовое, если есть у иностранцев, вымышлял, если нет, изменял падежи для оттенков действия или изощрения слова.» ² Забота об эффектности и занимательности языка всегда продолжала оставаться основной пля Бестужева. И действительно, его повести неизменно блещут метафорами и сравнениями, каламбурами и остротами. Бестужев создал тот изысканный и нарядный язык, который Греч называл «бестужевскими каплями» и который сам Бестужев защищал и отстаивал принципиально: «Что касается до блесток, — писал он брату, -- это я живой. Переиначите мой слог, вы ощиплете его, вы окастратите его».

Существенно отметить здесь, что между языком и стилем стихотворных произведений Бестужева и языком и стилем его прозвических вещей, в сущности говоря, нет принципиальной разницы. «Бестужевские капли» налицо и в «Андрее Переяславском» и в лирике Бестужева. Недаром критик «Московского вестника», разбирая первую главу «Андрея Переяславского» и укоряя автора за отсутствие в ней «логической связи», выписывал в своей рецензии целый ряд «темных выражений»: «Вот, например, слова Романа, мечтающего на развалинах монастырских:

> О, время, ангел истребленья Деяний, зданий старины! Хоронишь ты в степи забвенья Великих мира и войны: И лишь случайно, лишь украдкой Одно из тысячи имен, Обломок на пути времен, Покрытый басенной догадкой, Векует метою племен...

^{1 «}Русский вестник» 1861, март, стр. 318. ² «Русский вестник» 1870, июль, стр. 63—64 (письмо братьям 1 дек. 1835 г.)

Олно имя. обломок (от чего?) на пути времен, покрытый басенной догадкой (?), случайно, украдкой, векует метою племен. Какой странный набор слов!» Критик «Московского вестника» приводил дальше целый ряд поразивших «Ангельская сила сходила падучей звезлою по зову тленной красоты»; «летучий пар дышит млечной тучей, объемля венцом огонек» и т. д. 1

Особенности своей стилистики Бестужев готов был объяснять чуть ли не свойствами своего психического склада. Однако это тяготение к внешней эффектности и красивости не только в языке и стиле, но также в сюжетах и композиции повестей Бестужева отразило одну из примечательных черт, присущих деятелям декабристского движения и коренившихся в романтическом мировоззрении. С этой точки зрения повести Бестужева, так же как и его стихотворные произведения, должны рассматриваться в числе выдающихся литературных памятников декабризма.

В «Испытании» и «Фрегате Надежда» Бестужев обратился к изображению фальшивого и корыстного «светского общества», обличать которое еще в 1825 году он призывал Пушкина. Бездушному и корыстному «свету» Бестужев противопоставлял своих возвышенных героев, «энтузиастов всего высокого и благородного». Таковы Гремин и Ольга в «Испытании», Правин и Вера во «Фрегате Надежда», где действие развертывается на фоне морской жизни. «На одной ветке распустились сердца наши, - говорит Правин Вере, - вместе должны б они цвесть; но судьба разрывает, рознит нас! Пускай же океан протечет между нами - он не зальет моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима от этого пожара». В этой тираде, как и всегда у Бестужева, герои повести живут чувствами автора и говорят его приподнятым цветистым языком. Автор как бы перевоплощается в своих героев. 2

Обличая пустоту и фальшь светского общества. Бестужев защишал права личности, восстающей против этого общества. Тема личности стала ведущей для Бестужева и в его кавказских повестях. Если в повестях из жизни «света» Бестужев интересовался преимущественно «историей сердца», — в кавказских повестях он рисовал

^{1 «}Московский вестинк» 1828, № 11, стр. 298 — 304. 2 О языке и стиле романтической прозы 30-х годов, и в частности прозы Бестужева, см. в работе В. В. В и н о г р а д о в а «Стиль прозы Лермонтова» — «Литературное наследство», № 43—44, М., 1941, стр. 519 и сл. Общую характеристиву повестей Бестужева см. в статье Н. Л. С т е п а н о в а, приложенной к изданию «Избранных повестей» А. Марлинского (Бестужева), Л., 1937.

трагическую судьбу героических личностей, наделенных бурными страстями, сильной волей и храбростью. Таковы Аммалат-Бек и Мулла Нур — романтические герои одноименных кавказских повестей Бестужева. Кавказская экзотика и жизнь горцев как нельзя более соответствовали творческим устремлениям Бестужева, и поэтому кавказские повести и очерки заняли такое большое место в его литературной деятельности 30-х годов. Кавказские очерки Бестужева долгое время славились не только своей занимательностью, но ценились также и с фактической стороны.

Этнографическая достоверность и ценные реалистические подробности этих очерков и повестей из кавказской жизни, авторское сочувствие, проявленное в них по отношению к патриотизму и свободолюбию горцев, — все это неизменно совмещалось у Бестужева со схематичностью и примитивностью образов, с декоративностью поз и жестов его героев. Герои Бестужева вели свою литературную родословную от романтических поэм Байрона, наследуя от них и нарочитую театральность и в то же время большие страсти, сильную волю, ненависть к пошлости и рутине. Наряду с Байроном очень родствен и близок Бестужеву в 30-е годы стал Виктор Гюго, которым он зачитывался и которого считал первым пясателем Европы.

С начала 1831 года установились связи Бестужева с редакцией «Московского телеграфа», журнала, который, по словам Белинского, «как бы издавался для романтизма». Бестужев пе только печатался в «Московском телеграфе», но и состоял в деятельной переписке с руководителями журнала, братьями Н. и К. Полевыми. На страницах «Московского телеграфа» увидела свет знаменитая критическай статья Марлинского о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем». 1 Разбор самого романа запял в статье очень немного места, центральная же часть статьи была посвящена историческому обзору западноевропейской и русской литературы от древности и до XIX века. Марлинский торжественно провозглашал победу романтизма, показывал общественно-историческую необходимость его развития и успехов, наконец, определял место романтизма в истории культуры и литературы. «Поэт в наш век не может не быть романтиком», — заявлял Марлинский.

Из писем Марлинского известно, что его стагья очень сильно пострадала в цензуре. «Насчет романтизма в разборе «Клятвы при

 $^{^1}$ «Московский телеграф» 1833, ч. 52, № 15 и № 16 (август) и ч. 53, № 17 и № 18 (сентябрь).

гробе господнем» скажу, что в ней не читали вы лучшего, — писал он братьям 1 декабря 1835 года, - и потому нельзя вам судить о целом и связи» 1 ...«О ней нельзя судить по скелету, обглоданному цензурою, — писал он также Булгарину 21 февраля 1834 года. — половина ее осталась на ножницах, и вышла чепуха». 2

Цензура сократила и совершенно исказила как раз ту часть статьи, которая содержала общеэстетическую декларацию автора. Основная мысль Марлинского, невозможная для тогдашней печати, заключалась в утверждении, что «Евангелие есть тип романтизма» и что оно «было первообразом новой словесности, первым рассадником илеализма». 3

С идеалистических романтических позиций Марлинский и давал оценку всего развития мировой культуры. Он обрушивался на материалистическую философию и просветительную литературу XVIII века во Франции, с гневом говорил о Вольтере, но зато с большой симпатией о Руссо, в котором видел представителя романтизма «в эту пору вещественности», «звено между материализмом века и духовностью веков».

Наибольший интерес статьи Марлинского заключался в попытке общественно-исторического обоснования романтизма, развитие которого он ставил в связь с судьбами западноевропейской буржуазии. Эта концепция сложилась под влиянием французских историков и носила ярко выраженный буржуазно-демократический характер. На упреки братьев, что в статье Марлинского чувствуется влияние Тьерри и других историков, он оправдывался так: «Что в некоторых местах сталкиваюсь я с Тьерри и другими, виновата история, что для всех одно и то же описала. Я не выдумывал фактов, как Вольтер или Шербатов». 4

С необыкновенным сочувствием отмечал Марлинский тот исторический момент в истории Европы, когда «впервые простолюдины стали играть роли наравне с визирями и ханами и дворяне в первый раз сознались вниманием своим, что и народ может быть очень ванимателен, народ, который у себя водили они в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже гончих». Марлинский говорил далее о «простонародной» поэзии как первооснове письменной литературы и о необходимости возвращения литературы к этой поэзии.

^{1 «}Русский вестник» 1870, июль, стр. 63—64. 2 «Русская старина» 1901, февраль, стр. 403. 8 Н. Котляревский вестник» 1870, июль, стр. 63—64 (письмо от 1 дек. 1835 г.).

Марлинский прославлял буржуазию, как передовой класс, совершивший громадный переворот в мировой культуре и давший новое направление ее развитию.

Статья Марлинского явилась настоящим манифестом романтизма, а вместе с тем и его апологией. В теории, так же как и в своей художественной практике, Марлинский защищал и отстаивал романтизм до конца своих дней.

Сейчас даже трудно представить себе, насколько велика была популярность Марлинского в 30-е годы. Начиная с 1832 года, без имени и псевдонима автора, начали выходить одно за другим издачия его сочинений под заглавием «Русские повести и рассказы». По выражению Кс. Полевого, эти издания «танли на полках, как подмоченный сахар». Белинский писал впоследствии, что известность Марлинского «росла с чудовищной быстротой», в нем видели «Пушкина прозы», «русского Бальзака», «великого поэта, гения первого разряда», которому нет соперников в русской литературе. Несколько десятилетий спустя Тургенев в рассказе «Стук... стук» (1870) словами своего рассказчика вспоминал, что Марлинский «в тридцатых годах гремел как никто — и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог итти в сравнение с ним. Он не только пользовался славой первого русского писателя; он даже — что гораздо труднее и реже встречается — до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение. Герои à la Марлинский — попадались везде, особенно в провинции и особенно между армейдами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно — с «бурей в душе и пламенем в крови...» Женские сердца «пожирались» ими. Про них сложилось тогла прозвише: «фатальный». Тип этот, как известно, сохранялся долго, до времен Печорина».

Бестужев-Марлинский был еще в зените своей славы, когда на литературное поприще вступил Белинский, вскоре же начавший борьбу за гоголевское направление. Вслед за Гоголем в русскую литературу вошел и Лермонтов.

За три года до гибели Марлинского Белинский в «Литературных мечтаниях» (1834) по-новому поставил вопрос о сущности его таланта и об особенностях его творчества.

Назвав Марлинского «одним из самых примечательнейших наших литераторов», Белинский отметил, что «он теперь безусловно пользуется самым огромным авторитетом: теперь перед ним все на коленях». Вопреки восторженному общему мнению о Марлинском, Белинский стал «органом нового общественного мнения», и в «Литературных мечтаниях» он охарактеризовал Марлинского как талант, «но талант не огромный, талант, обессиленный вечным припуждением, избившийся и растрясшийся о пни и колоды выисканного остроумия». Отсутствие простоты и естественности, а потому непрерывные натяжки, «более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства», — таковы, по мнению Белинского, были отличительные черты прославленных романтических повестей Марлинского.

Когда в 1835 году вышли из печати «Арабески» и «Миргород» Гоголя, Белинский, сопоставляя Гоголя с Марлинским, мог высказать свое мнение о Марлинском еще более ясно и определенно. В статье «И мое мнение об игре Каратыгина» Белинский писал: «В искусстве есть два рода красоты и изящества, так же точно, как есть два рода красоты в лице человеческом. Одна поражает вдруг, нечаянно, насильно, если можно так сказать; другая постепенно и неприметно вкрадывается в душу и овладевает ею. Обаяние первой быстро, но не прочно; второй медленно, но долговечно; первая опирается на новость, нечаянность, эффекты и не редко странность; вторая берет естественностью и простотою. Марлинский и Гоголь-вот вам представители того и другого рода красоты в искусстве». Белинский никогда не отрицал в Марлинском таланта, называл его «первым нашим повествователем», «зачиншиком русской повести», но Белинский всегда указывал на слабые стороны его творчества. Свой приговор Марлинскому, впервые сформулированный в «Литературных мечтаниях», Белинский повторил в статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835) и наконец нанес страшный удар по Марлинскому и по всему русскому романтизму в специальной статье, написанной в связи с выходом в свет полного посмертного собрания сочинений Марлинского (1840). В этой статье Белипский определял его творчество как «поэзию не мысли», а «красивых щегольских фрав, блестящей риторической мишуры», а талант Марлинского как «чисто внешний, не из мысли создающий образы, а из материи выделывающий красивые вещи». В борьбе за искусство, которое выражает истину, т. е. воссоздает процессы, происходящие в самой действительности. Белинский был беспощаден к Марлинскому, у которого он не видел «ни характеров, ни лиц, ни образов, ни истины положений, ни правдополобия в интриге». Такой приговор Марлинскому для своего времени был совершенно закономерен и необходим. Столь же закономерно было отринательное отношение Белинского к «необычайному» и эффектному в искусстве. Все это характеризовало тот кризис романтического мировоззрения и стиля, который отражал происходившие общественные изменения в стране и дальнейшую ломку крепостнического строя. Позиция Белинского теоретически обобщила, в частности, творческие устремления Гоголя.

В своих статьях о картине Брюллова «Последний день Помпеи» и «Несколько слов о Пушкине» Гоголь ставил вопрос о соотношении эффектного и безэффектного в искусстве, принципиально защищал «простоту» и «безэффектность» и утверждал, что величайшая задача художника - изобразить «обыкновеннос», потому что, «чем предмет обыкновениее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина». В этих словах о поэвии «обыкновенного», осознававшейся Гоголем как один из основных художественных ваветов Пушкина, был выражен теоретический тезис, ставший руководящим не только для самого Гоголя, но и для критики Белинского, для всего современного им реалистического движения 30-40-х годов. Поэзия «обыкновенного» не означала, однако, полного отрицания или забвения художественных ценностей романтизма. Белинский, так же как и Гоголь, рассматривал романтизм как необходимый и важный этап на путях к новому реалистическому искусству.

В статье «Петербургская сцена в 1835/6 г.» Гоголь находил, что «романтизмом было больше ничего, как стремление подвинуться ближе к нашему обществу». Словно Марлинского Гоголь имел в виду, когда он говорил, что «переход к этому стремлению, то есть первые взрывы и попытки производятся обыкновенно людьми отчаянными, дерэкими, какими производятся мятежи в обществах. Они видят несвойственные формы, несоответствующие нравам и обычаям правила, и ломятся напролом чрез все преграды». Именно таков был и Марлинский с его духом мятежа и протеста, который привел его в рязы декабристов и который обусловил самую сущность его романтизма. Но романтики, по мнению Гоголя, произвели беспорядочное брожение «ветхого и нового», они «произрастили хаос», «из которого потом творец спокойно и обдуманно творит новое здание». Так романтизм явился необходимой подготовкой к новому направлению поэтического творчества, к поэзии действительности.

Белинский, постоянно указывавший на слабые стороны творчества Марлинского, тем не менее не забывал и о положительном его значении в развитии русской литературы. «Марлинский явился на поприще литературы тем самым, что называлось тогда р о м а н т и змо м, — писал Белинский в своей статье о Марлинском 1840 года. — Как Сумароков, Херасков, Богданович и Княжнии клопотали из всех сил, чтобы отдалиться от действительности и естественности в изобретении и слоге — так Марлинский всеми силами старался прибли-

виться к тому и другому». В этой оценке со всей определенностью подчеркнуты прогрессивные стороны творчества Марлинского.

Мы рассматриваем сейчас Марлинского как писателя, отразившего своими произведениями декабристский этап в развитии русской литературы, а в борьбе, которую вел с ним Белинский, видим начало нового этапа, связанного с ростом молодой русской демократии. И с этой точки эрения Марлинский представляет выдающийся интерес: он сохраняет свое большое историческое значение. Совершенно не случайна значительная преемственность, идущая от Марлинского к Гоголю, прежде всего в лирической стихии его творчества, и к Лермонтову — в постановке проблемы личности, борющейся за свое освобождение от оков «светского общества», от власти предания.

Выступая в качестве поборника романтизма, Марлинский вел борьбу со всеми теми силами в литературе, которые мешали его развитию. Поэтому Марлинский необходимо должен был действовать не только как новеллист и поэт, но и как критик. И эту сторону деятельности Марлинского особенно выделял и ценил Белинский. «Вообще Марлинскому, как критику, литература наша многим обязана», — подчеркивал он. Тенденциями общественно-исторического подхода и литературе, борьбой с подражательностью и пропагандой родного языка, стремлением к народности художественного творчества — всеми этими особенностями своих критических статей Марлинский по праву заиял место одного из предшественников самого Белинского в области критики.

Как поэт Марлинский вошел в историю русской революционной лирики своими агитационными песнями, созданными совместно с Рылеевым. Большинство прочих стихотворений Марлинского характеризует поэзию декабристов после декабря 1825 года. Вместе с заточенным в крепость и отправленным потом в ссылку Кюхельбекером, вместе со ссыльным А. Одоевским, Марлинский был представителем разбитого, но не уничтоженного движения, участие в котором осталось ему дорого навсегда. В 1829 году, покидая сибирскую ссылку и отправляясь на Кавказ, Марлинский написал следующее четверостишис, обращенное к декабристу М. И. Муравьеву-Апостолу:

Ты взора не сводил с звезды своей вожатой И средь пустынь нагих, презревши стон, Любви и истины искал святой закон И в мир гармонии парил мечтой крылатой.

Так была засвидетельствована преданность Бестужева-Марлинекого идеалам «Полярной звезды». Облик Марлинского-писателя был бы не полон без его стихов еще и потому, что они разъясняют нам сущность его романтизма в природу его «поэтической» прозы.

Белинский, судивший Марлинского очень строго, тем не менее счел возможным отметить в «Андрее Переяславском», «особенно во второй главе», «места истинно-поэтические». Выделял Белинский в «песни горцев» в «Аммалат-Беке», считая даже, что они «лучше всей повести: в них так много чувства, так много оригинальности, что в Иушкин не постыдился бы вазвать их своими».

Н. Мордовченко

І СТИХОТВОРЕНИЯ

ДУХ БУРИ (из лагарпа)

Отважным Гамою ведомы корабли
В безвестный Океан за славою текли.
Уж скалы Африки от взоров убегали,
Как вдруг из влажных недр неведомых валов
Восстал призрак до облаков—
И устрашенные пловды вострепетали.

Покрыла бурную пред ним стихию мгла, Столпились тучи вкруг грозящего чела, И гром и вихрь окрест и молнии вилися. Зловещий глас его подвигнул дно морей.

Отгромы бедетвенных речей, Раздавшись вдалеке, над бездной пронеслися.

«Остановись, он рек, неистовый народ!
Познай во мне царя тобой струимых вод,
Впервые от рулей белеющихся пеной.
Не мните ль, что себя дозволю оскорбить,
Кормами океан бразлить.

Кормами океан браздить, Без казни нарушать покой сих мест священной?

Нет, трепещи! Твой дух корыстолюбьем полн, До быстрых пренесет тебя Мелинда волн, Которые вотще судьба вдали сокрыла; Тебе последуют несчетны племена,

Но вновь открытая страна Всем будет пришлецам обширная могила.

Уже мне слышится среди судокрушенья, Смешавшись с ревом бурь, прерывный крик сраженья

И громы медных жерл с перуном в небесах. Но победители, равно как побежденны, Моею бездной поглощенны, С преступным золотом сокроются в волнах».

Скончал! — И вдруг, склонясь над пенными валами, Между шумящими сокрылся он скалами, Где стонут ярые валы, дробясь о них. Казалось, твердь зажглась и рухнул брег гранитный, И вдруг перун зубчатовидный Трикраты проблеснул по грядам туч густых.

(1818)

к к (реницин) у

Тебе ли, Муз Питомец юный, Томить печалью звучны струны, Чело под скукою клонить? Прожив три люстра с половиной, Полет забывши соколиной, Оледенить себя судьбиной! Поэту ль малодушным быть?

Бесспорно, что не в нашей воле Быть счастливым в сей юдоле; Но можно менее страдать В оковах грусти бесполезной; Поверь мне в этом, друг любезной: Возможно жезл судьбы железной Терпением перековать.

Не вечно ветр в долинах воет, Не век Перун крылатый роет Гранитну цепь Кавказских гор; Почто же волею своею Страдать подобно Прометею, Топтать веселия Лилею, Печалью свой туманить взор?

Конечно, кто пабег кручины! От ней ни юность, пи седины, Ни сан, ни род не защитят,— Везде ее проникнут жалы, И часто пиршества бокалы Вздыханья царские струят.

Но ах! Чему тоска поможет? Она шипы на розах множит, В пыл жизни чувства холодит; Нам радости даны часами, Но грусть свиндовыми крылами Вперед нас двигает годами; А невозвратна жизнь — летит.

Друг! Примирись с самим собою, Престань печальною мечтою Болезнь сердечну пробуждать; Пусть Зефир дружбы с новой силой Развеет мрак души унылой, Путь жизни бог Цитеры милой Забав цветами будет стлать.

Последуй дружества совету: Поставь лишь радости за мету, А скуку на ветер пускай; То с чашей нектара златою, То граций с резвою толною Спеши знакомою тропою И в счастьи счастье воспевай! 1818 года

подражание первой сатире буало

1819 год, февраль

Бегу от вас, бегу, Петропольские стены, Сокроюсь в мрак лесов, в пещеры отдаленны, Куда бы не достиг коварства дикий взор Или судей, писцов и сыщиков собор. Куда бы ни хвастун, ни лжец не приближался, Где б слух ни ябедой, ни лестью не терзался. Бегу! Я вольности обрел златую нить. Пусть здесь живет Дамон, — он здесь умеет жить. За деньги счастия не редким став примером,

Он из за стойки в час возникнул кавалером. Пусть Клит живет, его коммерчески дела Французов более нам причинили зла. Иль Граблев, коего бесчинства всем знакомы. Ивана Каина могли б умножить томы, Иль доблестный одной дебелостью Наршис Пускай меняет здесь сиятельных Лаис. Пусть к пагубе людей с друзьями записными Понт счастье пригвоздил за картами своими. Пусть Грей, любя одни российские рубли, Катоном рядится отеческой земли. Везде, хваля себя, твердит: «Чтоб жить безбедно, Нам щит невежество, нам просвещенье вредно». Таким людям житье в продажной стороне. Но мне здесь жить? к чему? И что здесь делать мне? Могу ль обманывать? могу ли притворяться? Нет! К возвышению постыдно пресмыкаться. Свободен мыслями, хоть скованный судьбой, Не променяюсь я за выгоды душой. Не захочу, на крест иль чин имея виды, Смывать забвением вельможные обиды Иль продавать на зло и вкусу и ушам Тому, кто больше даст, стиховный фимиам! Служить любовникам не ведаю искусства И знатных услаждать изношенные чувства; Я отдаю товар, каков он есть, лицом: Осла ослом зову, Бибриса — подлецом. За то гоним, забыт, в несчастной самой доле, Богат лишь бедностью, скитался в Петрополе. Скажи, к чему, теперь я слышу, говорят, Слинявшей мудрости цинический наряд? Сей добродетели обуховской больницы Давно, весьма давно не носят средь столицы. «Высокомерие — законно богачам, А гибкость, рабство, лесть приличны беднякам. Сим только способом бессребренны поэты Исправить могут эло их мачехи-плансты». Так! в наш железный век фортуна-чародей Творит директоров из глупых писарей. Злорада, например, на смех, на диво свету С запяток в пышную перенесла карету И, золотым щитьем сменивши галуны,

Ввела и в честь и в знать умильностью жены. Теперь он, пагубным гордясь законов знаньем, Упитан грабленным соседей достояньем, С сверкающих колес стихиею своей Из милости грязнит достойнейших людей. Меж тем как Персий наш пешком повсюду рыщет И обонянием чужих обедов ищет: С беспенным даром сим для авторов знаком, По дыму трубному спешит из дому в дом. Конечно, Росский Тит, в наградах справедливый. Вплетая в лавр побед дельфийские оливы. Гордыню разгромив, с Европой бедных муз Рукою благости освободил от уз. Астреи могут ждать теперь наук пенаты, Наш Август царствует, — но где же Меценаты? Опорой слабого кто здесь захочет быть? Притом возможно ли дорогу проложить Сквозь тысячи писнов, искателей голодных. Сих жалких авторов восторгов всенародных, На коих без заслуг струится дождь щедрот: Шмели у пчел всегда их расхищают сот. Престанем же наград лелеять ожиданье, -Без покровителей напрасно дарованье. Ужель не видим мы Боянов наших дней. Влачащих жизнь свою без денег, без друзей, Весной без обуви, а в зиму без шинели. Бледней, чем схимники в конце страстной недели. И получающих в награду всех трудов Насмешки, куплены ценой своих стихов, На коих, потеряв здоровье и именье, Лишь в смерти обретать от бедности спасенье. Иль. за долги в тюрьме простершись на досках, Без хлеба в жизни сей бессмертья ждать в всках. На авторов давно прошла у знатных мода, И лучший здесь поэт, честь русского народа. Вовеки будет чтим с шутами наравне. Ступай в подъячие, там счастье, - шепчут мне. Неужель должен я, наскучив Аполлоном, Как прежде рифмами, - теперь играть законом И локтями сметать чернильные столы? Как? чтобы я, сменив корысть на похвалы, В хаосе крючкотворств бессмысленных блуждая

И звоном золота невинность заглушая, Пля сильных стал весы Фемиды уклонять. По правде белое — по форме черным звать? И в справках вековых, в сношениях напрасных Бесстыдно волочить просителей несчастных? Скорей, чем эта мысль мне в голову придет, В июне месяце Неву покроет лед. Скорей луна светить в подлунную устанет, Графов писать стихи, элословить Клит престанет, И Трусова скорей узнают храбрецом, Чем я решусь сидеть в палатах за столом. Почто же медлить здесь? Оставим град развратный. Не добродетелью, — лишь зданиями знатный, Где дерзостный порок деяний всех вождем С заслугой к счастию идут одним путем. Коварство кроется в куреньях тонкой лести, Где должно почести купить ценою чести, Где под личиною закона изувер, В почтеньи истину скрывая тьмой химер, Где гнусные ханжи и набожны прелесты Ниноны дух таят под покрывалом Весты, Где роскоши одной является успех, Наука ж, знание в презрении у всех И где к их пагубе взнесли чело строптиво Искусство: красть умно, а угнетать учтиво, Где беззаконно всё, и мне велят молчать, Но можно ли с душой холодной ободрять Столичных жителей испорченные нравы? И кто в улику им, путь указун правый, Не изольет свой гнев в бесхитростных стихах. Нет! Чтоб сатирою вливать порочным страх, Не нужно кротких муз ждать вдохновенья с неба,-Гнев справедливости, конечно, стоит Феба. Потише, вопиют, вотще и остроты И град блестящих слов пред ними сыплешь ты. Взойди на кафедру, шуми с профессорами И стены усыпляй моральными речами. Там, - худо ль, хорошо ль, - всё можно говорить. Так мня грехи свои насмешками прикрыть Смеются многие над правдою и мною, И с ложным мужеством под ранней сединою. Чтоб в бога веровать, ждут лихорадки в дом,

Но бледны, трепетны, внимая дальний гром, Скучают небесам безверными мольбами. И в ясны дни, смеясь над бедными людями, Терпите, — думают, — лишь было б нам легко: Далеко от царя, до бога высоко! Но я, уверен быв, что для самой фортуны Хоть дремлют, но не спят каратели Перуны, От развращения спешу себя спасти. Роскошный Вавилон! В последнее прости.

отрывок из комедии «оптимист»

Крутон

Но я, сударь, своим примером и ответом Поссорю навсегда вас с жизнию и светом; Всё без изъятия и эло, и худо в нем Не только в нравственном, в физическом, во всем, И мы осуждены терпеть одни мученья: До смертного часа от самого рожденья Наружным, внутренним пременам жертвой быть И тела и души болезни преносить. Стихии грозные враждебной нам природы То рушат твердь земли, то воздвигают воды, Мы сами против нас самих озлоблены; Собратий истреблять изобрели войны, Яд, казни, всех смертей мучения жестоки; Нам мало бед, мы к ним прибавили пороки: Невинность силе здесь, богатству предана; Нет добродетели, честь в откуп отдана; Источники забав от пресыщенья мутны. Мы стары в двадцать лет, а в пятьдесят распутны. Брак без любви; любовь найдете ли вы где? Почтенье к женщинам потеряно везде. Долги не платятся, в забвении обеты; Благотвореньями полны — одни газеты; А прозы и стихов несносен жалкой сброд. Все судят о вещах всегда наизворот. И словом, целый век мы в мире злу подвластны, Все люди злобны в нем, и глупы, и несчастны!

Люлмил

Прекрасно! — Как верна картина жизни сей; Но сходства, думаю, ты сам не видишь в ней. Я гневу твоему не нахожу причины. Горячность в прениях, мой друг, — довод бессильный. Волканы, океан нейдут к твоим словам. Живи себе в Москве, не езди по морям. Войны жестокости, раздоры проклинаю, Но мира твердого, наверно, ожидаю. Что многие должны, согласен я с тобой: Зачем же верят им, гоняясь за лихвой? Брак без любви? — Спроси жену мою об этом. Любови нет нигде? Мне Софьюшка ответом. Кокетки женщины? В том нет большой вины: Они нам нравиться на свет сотворены. Забавы ложны все? Но часто меж друзьями Ты радости небес вкушал под небесами. Есть жалкие стихи! Но разве Аполлон Нам все печатное читать скрепил закон? Хоть редко мы цветы поэзии сбираем, Но иногда стихи прекрасные читаем. Системы ложные умы вскружили нам? Все заблуждаются! — тому пример ты сам. Смягчи свой гнев, мой друг, будь прямо беспристрастен.

И знай, что человек ни злобен, ни несчастен. Конечно, вижу я, как ты, как всяк другой, Есть зло, но есть зато и благо под луной; Я благом пользуюсь, а зло сносить стараюсь, Но мнениям твоим и пеням удивляюсь. Напрасны жалобы не большее ли зло? Не множь собой, мой друг, хулителей число; Небесной мудрости познай закон священной И верь, что создано всё к лучшему в вселенной. Стрельна. 1819

к некоторым поэтам

О, вы, сподвижники мои и образцы! Столь многих мелочей тяжелые творцы; Премаленьких стишков, комедий преогромных, Идиллий, песенок, трагедий многотомных,

Что пародиями вся публика зовет, -Хоть смотрит, но труда прочесть их не берет -Вы, кои прихотью затейливыя музы — Поэтов стран чужих куете в русски узы, --Вы торжествуете! вам дерзновенье щит, Вкус ложный парствует, талант — в пыли лежит. — С непросвещенными давно ли здесь умами Мы восхищалися Державина стихами? Давно ль Фонвизину театр рукоплескал? Лавно ли Дмитриев гармонией пленял? Но вам благодаря, на высотах двухолмных, Мы судим иначе поэтов многословных: Теперь Глупениус взял верх над Княжниным И Мевия зовут Горацием вторым. И словом, все жильцы пермесской колыбели Судить самих себя архонтами засели; В таланты жалуют, бессмертие дают; А гениев у нас и куры не клюют! --Блаженны времена, украшенные вами, Обильны славными ничтожества трудами. Смотрите, радуйтесь, как в недре двух столиц Питомцы фебовы и девяти сестриц, В сомнамбулическом жару летя за славой, Поправ пятою вкус, грамматику, ум здравой, Стремятся гению неведомой стезей На верх Парнасских гор бестрепетной стопой, И, там собравшися ревущею ватагой, Бутят храм памяти измаранной бумагой. О, други! сам восторг мне речь сию внушил! Он к подражанию в меня охоту влил. --Бросаю автора застенчивость меж нами: Я стою равными венчаться похвалами -Подобно вам, друзья, и я пишу стихи, Чтоб рифмою прикрыть невежества грехи. --Мы в многом разнимся, но в главном очень сходны: И ваши, и мои творения негодны. — Лишь превращению благодаря в умах, Теперь плывете вы на полных парусах В залив бессмертия, под флагами забвенья. -От вас жалеет мир о выдумке тисненья; Журналы, эрители, чтецы трепещут вас... Но дребезжащий мой слабеет хвальный глас!

Прославить может ли бесценных ряд творений Едва из скорлупы рождающийся гений? — Но к ободрению ревнуя чуждых дел, Для вашего венца я лавр сыскать хотел И тщетно пробегал долины Геликона; Там люди самого испорченного тона: Державин, Дмитриев, Жуковский и Крылов, Там автор Душеньки, там Карамзин, Костров... Давно уж вырвали не только лавры — розы, Оставивши для вас репейник, плющ и лозы. (1819)

ШАРАДЫ

1

Часть первая моя в турецкой стороне Гроза для янычар и часто для султана; Вы окончание хотите знать во мне? Оно в Германии отличьем служит сана; А целое мое — у россиян

. *целое мое* — у россиян Есть имя знатных и крестьян.

Q

Лишенный головы, ни рыба я, ни зверь, Но ползаю в воде и в пищу пригожуся; Мне дайте голову— с водой соединюся, И вас развеселю. Узнаете ль теперь? (1819)

* * *

Себе любезного ищу
Без хитрости и без искусства,
В любви я находить хочу
Не прихоть, а сердечны чувства.
Чтоб милого найти такова,
На все я опыты готова,

Коль нужно, сквозь огонь и воды Его найду И для него на край природы Везде пойду.

(Припев)

Хочу, чтоб был он в тридцать лет. В сей возраст мыслят, рассуждают, — Весну увенчивает цвет, Но летом розы собирают.

И ловкой вид и простота Мой дух почти равно прельщают, Но чувствований красота Меня пленяет, восхищает.

Хочу, чтоб в пламенных очах То резвость милая блистала, То в томных иногда глазах Чтоб я задумчивость читала.

Хочу, чтоб милый был умен, Но без ученого педантства,— С стрелой смеется купидон, Но циркуль не его убранство.

Хочу таланты видеть в нем, В них прелесть жизни скоротечной, Они щепят огнем своим Мученье зависти ссрдечной.

Хочу, чтобы любезный мой И ревности питал бы чувство: Излишно мало — знак худой, Излишно много — есть безумство.

Приятно видеть перлы слез, Которы тмят прелестны взоры, Подобно как на листьях роз Сверкают слезочки Авроры. Хочу, чтоб сей любимен счастья Мог плакать в недрах сладострастья. Так, существует милый мой, Не тщетно сердце пламенеет, Богов он сотворен рукой, Любить и нравиться умеет.

Чтоб совершить мои желанья, На все готова испытанья, Без страха сквозь огонь и воды его найду, Пойду хотя на край природы Или умру.

(1818-1819)

* * *

Близ стана юноша прекрасный Стоял, склонившись над рекой, На воды взор вперивши ясный, На лук опершися стальной. Его волнистыми власами Вечерний ветерок играл, Свет солнца с запада лучами В щите багряном погасал.

Он пел: Вы, ветерки, летите К странам отдов, к драгой моей, Что верен был всегда, скажите, Отчизне, славе, чести, ей.

Отечество и образ милой В боях меня воспламенят, Они своей чудесной силой Мне в грудь геройства дух вселят.

Когда ж венец побед лавровый Повергну я к стопам драгим, Любовь мне будет славой новой, Блаженство, коль еще любим.

Но может завтра ж роковая Меня в сраженьи ждет стрела, Паду и сам, других сражая, Во прах на мертвые тела. Тогда вы, ветерки, летите К любезной сердцу с вестью сей, Что за отчизну пал, скажите, Для славы, для драгой моей. Умолк! Лишь лука тетивою Вечерний ветерок звучал, И уж над станом и рекою Луны печальный свет блистал. (1818—1819)

ЭПИГРАММЫ

1

Как Нина хорошо скрывает Под живописью древность лет! Три вещи вдруг в себе одной соединяет: Она оригинал, художник и портрет.

2

По городу молва несется, Что тощий журналист Фома Сошел с ума. Что ж чудного? — Где тонко, там и рвется. (1820)

ОБИТЕЛЬ СНА

(подражание овидию)

В горах Киммерии в чертог его над входом Скала угрюмая сложилась мрачным сводом, Где, мхом увенчанных пещер во глубине, Беспечный дремлет сон в пустынной тишине; И от создания, огнисты Феба очи Не позлащали стен сего владенья ночи; Лишь с влажным сумраком сомнительный рассвет В туманах бледное мерцание лиет. — Там петел никогда не пробуждал денницы, И никогда лай псов и голос вещей птицы,

На Капитолии возникнувший стенах. Не разливали там смятение и страх: Ни коней ржание, ни вой волков, от века, Ни бранный звук трубы, ни песни человека, Ни мимолётный ветр, свистя в ущельях скал, Немой пустыни сей покоя не смущал. Повсюду мертвенность; — из урны молчаливой Едва, едва журчит забвенья ток ленивой, Скользя меж раковин по илистому дну, Под шопот струй своих склоняется ко сну. И маки пышные, раскинувшись грядою, С прибрежной, сонною лобзаются волною; Их собирает ночь и в воздух льет росой Отрадный сок дремот, Зевеса дар благой; Порога не хранят бессменных стражей взоры. Не поражают слух гремящие затворы, Но там, в тиши палат, безвестных для небес, Под древним пологом, в тени двойных завес, На ложе, роскошью изобретенном, лежа И томну лень свою в зыбях пуховых нежа, Сна молчаливый бог, под маковым венцом, Век наслаждается ненарушимым сном. — Осуществленные мечтой воображенья, Порхают вкруг него крылаты сновиденья, И грез, как падший лист, бесчисленны рои, Как Ливии пески, как Тибровы струи.

〈1820〉

ЗПИГРАММА НА ЖУКОВСКОГО

Из савана оделся он в ливрею,
На ленту променял лавровый свой венец,
Не подражая больше Грею,
С указкой втерся во дворец —
И что же вышло наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею.
Бедпый певец!

(1824—1825)

(К РЫЛЕЕВУ)

Он привстал с канале,
Он понюхал рапе,
Он по комнате вдруг зашагал,
Подошел он к бумаги стопе
И «Поэма» на ней написал.
Вот приходит Плетнев,
Он певец из певцов,
Он взглянул, он вздрогнул, он сказал:
«За возвышенный труд
Не венец тебе, — кнут
Аполлон на Руси завещал».

(1824—1825)

СААТЫРЬ

(ЯКУТСКАЯ БАЛЛАДА)

Не ветер вздыхает в ущелье горы, Не камень слезится росою — То плачет якут до полночной поры, Склонясь над женой молодою. Уж пятую зорю томится она, Любви и веселья подруга, Без капли воды, без целебного сна, На жаркой постели недуга: С румянцем ланит луч надежды погас, Как ворон, над нею погибели час.

Умолкните, чар и моления вой
И бубнов плачевные звуки! 1
С одра Саатырь поднялась головой,
Простерла поблеклые руки;
И так, как под снегом роптанье ручья,
Как звон колокольчика дальной, 2
Струится по воздуху голос ея.
Внемлите вы речи прощальной;
Священ для живых передсмертный завет:
У гробных дверей лицемерия нет!

«О, други! Уйдет ли журавль от орла? От пуль — быстроногие козы?

Коль смертная тень мне на сердце легла, Прильют ли дыхания слезы? О, муж мой! не плачь: нам судьба изрекла И в браке разлучную долю. По воле твоей я поселе жила. Исполни теперь мою волю: Покой и завет нерушимо храня, На горном холме схорони ты меня!

«Не вешай мой гроб на лесной вышине 3 Духам, непогодам забавой: В родимой земле рой могилу ты мне И кровлей замкни величавой. Вот слово еще, роковое оно: Едва я дышать перестану, Сей перстень возьми и ступи в стремено, Отдай его князь Буйдукану. Разгадки ж к тому не желай, не следи — Тайна эта в моей погребется груди!..»

И смерть осенила больную крылом, Сомкнулись тяжелые вежды; Казалось, она забывается сном В объятиях сладкой надежды; С дыханием уст замирали слова, И жизнь улетела со звуком; Отринув стрелу, так звенит тетива, Могучим расторгнута луком. Родных поразил изумляющий страх...

На серпие тоска, и слеза на очах.

Убрали. Поднизки подобием струй Текут на богатые шубы. 4 Но грусти печать — от родных поцелуй Не сходит на бледные губы; 5 Лишь смело к одру подходил Буйдукан Один, и стопою незыбкой: Он обнял ее, не смущен и румян, И вышел с надменной улыбкой. И чудилось им — Саатыри чело, Как северным блеском, на миг рассвело!..

Наутро, где Лена меж башнями гор Течет под завесой туманов И ветер, будя истлевающий бор, Качает гробами шаманов, 6 При клике родных Саатырь принесли В красивой колоде кедровой, 7 И тихо разверстое лоно земли Сомкнулось над жертвою новой. И девы и жены, и старый и млад В улус потекли, озираясь назад.

Вскипели котлы, задымилася кровь Коней, украшения стада, И брызжет кумыс от широких краев, Он счастья и горя услада; И шумно кругом, упоенья кумир, Аях пробегает бездонный, ⁸ Уж вянет заря. Поминательный пир Затих. У чувала ⁹ склоненный Круг сонных гостей возлежит недвижим, Лишь в юрте, синея, волнуется дым.

Осыпаны кудри цветных тальников Росинками ночи осенней, И вышита зелень холмов и лугов Узором изменчивых теней; Вот месяц над теменем сумрачных скал Вспрянул кабаргой златоротой И луч одинокий по Лене упал Виденьям блестящей дорогой: По мхам, по тропам заповедных полян Мелькают они сквозь прозрачный туман.

Что крикнул испуганный вран на скале, Блюститель безмолвия ночи? Что искрами сыплют и меркнут во мгле Огнистые филина очи? Не адский ли по лесу рыщет ездок, Заглохшей шаманскою тропкой? Как бубен, звуча, отражаемый скок Гудит по окрестности робкой...

Вот кто-то примчался — он бледен лицом, Как идол, стоит на холме гробовом.

И прянул на землю; удар топора Раздвинул затвор над могилой, И молвит он мертвой: «Подруга, пора! Жених дожидается милой! Воскресни для новых веселия дней, Для жизни и счастия. Кони Умчат нас далеко, и ветер степей Завеет следы от погони.

Притворной кончиною вольная вновь, Со мной ты найдешь и покой, и любовь».

«Ты ль это? о, милой! о, князь Буйдукан! Как вечно казалось мне время! Как душно и страшно мне было! Обман На сердце налег, будто бремя!.. Роса мне катилась слезами родных, На ветре — их стон безотрадной! И черви на место перстней золотых Вились — и так смело, так жадно!.. Вся кровь моя стынет... А близок ли путь? О, милой, согрей мне в объятиях грудь!»

И вот поцелуев таинственный звук Под кровом могильной святыни, И сладкие речи... Но вдруг и вокруг Слетелися духи пустыни И трупы шаманов свились в хоровод, Ударили в бубны и в чаши... 10 Внимая трепещут любовники. Вот Им вопят: «вы наши, вы наши! Не выдаст могила схороненный клад; Преступников духи карают, казнят!»

И падают звезды, и прыщет огонь... Испуганный адскою ловлей, Храпит и кидается бешеный конь ... На кровлю — и рухнула кровля! Вдали огласился раздавленных стон... Погибли. Но тень Саатыри Доныне пугает изменчивых жен По тундрам Восточной Сибири. И ловчий, когда разливается тьма, В боязни бежит рокового холма...

Примечания

Содержание этой баллады взято из Якутской сказки. Саатырь— значит «игривая».

1. Якуты до сих пор не кинули обычая при болезнях призывать шаманов, которые гаданья, леченья и мольбы свои сопровождают воплями и звуками бубна (дюгюрь).

2. Якутские узды нередко увешиваются позвонками.

- 3. В старину они вешали гробы свои на деревьях или ставили их на подрубленных пнях.
- 4. Серебряные украшения женские, сделанные довольно искусно из цепочек и пластинок, весьма широких.

5. Якуты боятся прикосновения к мертвым.

6. Шаманы более прочих пользовались правом воздушного погребения. Еще и теперь в диких местах можно видеть гробы их.

7. Колода, пустая в середине и расколотая пополам — якутский гроб.

8. Аях — огромный деревянный кубок; в него входит велра полтора, но я видел удальнов, которые осущали его сразу. Прожорство якутов на праздниках (исых) невероятно: в моих глазах один из них выпил 30 фунтов растопленного масла.

9. Чувал — камин, очаг, он стоит посредине юрты, спинкою

ко входу. Якуты не знают иных печей.

10. Суеверия всех народов сходны. Якуты верят, что колдуны их покидают ночью гробы свои, пляшут, бьют в бубны, стараются вредить живым, и тому подобное.

1828. Якутск

имениннику

Я, пробужденный ранним звоном, За вас угоднику хочу Поставить, с набожным поклоном, Свою смиренную свечу. И, как елей, к отцу святому Моя молитва потечет: Да здравствует утеха дому Одноименник твой Федот. Вели, чтоб на него дождили Рубли рекой. Да повели, Чтобы всегда сохранны были

Его кони и корабли! Чтобы птенцы его росли - Со всяким днем умней и краше, Чтоб у него, как в полной чаше. Велось приятелям вино, А бедным лишние копейки: Росло сторицею зерно, Плодились куры и индейки... И продолжи, как лепту, вновь К нему и дружбу и любовь! Чтобы попрежнему соседы Твердили: он душа беседы! И пол прекрасный говорил: Фелот Фелотыч очень мил! Как он приветлив и забавен. Услужлив и веселонравен! Так от заштатного поэта, Не осуди, прошу принять Слова не лестного привета. На нем души моей печать. И, наконец, я пропою (Как закоснелый греховодник) В мольбах тебе, святой угодник, Еще секретную статью: Благослови, чтоб у Федота На ложе радостном любви Не утомлялася работа, И труд его благослови. И бодро жизненною силой Одущеви житье-бытье. И неизменное копье Скрепи, воздвигни и помилуй. 1828 г. Марта 2-го, Якутск

⟨НАДПИСЬ НАД МОГИЛОЙ МИХАЛЕВЫХ В ЯКУТСКОМ МОНАСТЫРЕ⟩

Неумолимая, холодная могила Здесь седины отца и сына цвет сокрыла. Один под вечер дней, другой в полудни лет К пределам вечности нашли незримый след. Счастливцы! Здесь и там не знали вы разлуки, Не знали пережить родных тяжелой муки. Любовью родственной горевшие сердца Покой вкусили вдруг для общего венца. Мы плачем; но вдали утешный голос вест, Под горестной слезой зерно спасенья зрест, И все мы свидимся в объятиях творца. (1828)

ЧЕРЕП

Was grinsest du mir hohler Schedel her? Als dass dein Hirn, wie meines einst verwirret, Den leihten Tag gesucht und in die Dämmerungschwer Mit dust nach Wahrheit, jämmerlich geirret! Goete's Fanst.

Кончины памятник безгробной! Скиталец-череп, возвести: В отраду ль сердцу ты повержен на пуги, Или уму загадкой злобной?

Не ты ли — мост, не ты ли — первой след По океану правды зыбкой? Привет ли мне, иль горестный завет Мерцает под твоей ужасною улыбкой?

Где утаен твой заповедный ключ, Замок бессмертных дум и тленья? В тебе угас ответный луч, Окрест меня туман сомненья.

Ты жизнию кипел, как праздничный фиал, Теперь лежишь разбитой урной, Венок мышления увял, И прах ума развеял вихорь бурной!

Здесь думы в творческой тиши Роилися, как звезды в поднебесной, И молния страстей сверкала из души, И радуга фантазии прелестной.

Здесь нежный слух вкушал воздушный пир, Восхищен звуков стройным хором,

Здесь отражался пышный мир, Бездонным поглощенный взором.

Где ж знак твоих божественных страстей И сил, и замыслов, грань мира облетевших? Здесь только след презрительных червей, Храм запустения презревших!

Где ж доблести? Отдай мне гроба дань, Познаний светлых темный вестник! Ты ль — бытия таинственная грань? Иль дух мой — вечности ровесник?

Молчить! Но мысль, как вдохновенный сон, Летает над своей покинутой отчизной, И путник, в грустное мечтанье погружен, Дарит тебя земле мирительною тризной. <1828>

юность

(подражание гете)

Реют ласточки весною По долам и по водам: Так мечтанья за мечтою Вдаль и вкруг, и там и сям; Новость манит в испытанье, Сердце ноет взором дев; Грусть для юноши — питанье, Слезы — счастия припев. [1828]

МАГНИТ

(из гете)

Вечно ли тайна магнита Будет для смертных сокрыта? Тайна разгадана вновь — Это вражда и любовь.

всегда и везде

(из гете)

Ключ бежит в ущелья гор, В небе свит туманов хор; Муза манит к воле, в поле Трижды тридевять и боле. Вновь напененный бокал Жарко новых песен просит, Время катит шумный вал, Но опять весну приносит.

(1828)

из гафиза

Прильнув к твоим рубиновым устам, Не ведаю ни срока, ни завета. Тоска любви — единственная мета, Лобзания — целительный бальзам.

[1828]

из гете

(с персидского)

Пейте! Самых лет весна — Упоенье без вина. Старец, пей вино до млада: В нем чудесная отрада; На печаль грустит любовь, Враг печали гроздий кровь.

Не пытай, зачем оно Было встарь запрещено! Что заветно, то и слаще, Пей же лучшее да чаще; Будешь гяуром вдвойне Проклят на плохом вине.

[1828]

из геле

(подражание)

Как часто, милое дитя, Тебя чуждаюсь я невольно, Когда, в толпе людей блестя, Крутимся мы, хоть сердцу больно;

Но в мраке ночи и в тиши Тебя, не видя, нахожу я По жару девственной души, По сладкой неге поцелуя. [1828]

ЗЮЛЕЙКА

Нет, ты мой и мой навечно!
От любви любовь крепка,
Прелесть страсти, друг сердечный,
Краше перстня и венка.
Гордо я подъемлю брови
От твоих высоких дум;
Бытие мое в любови,
А душа любови — ум.
[1828]

С ПЕРСИДСКОГО

Будь, любезная, далеко, Так, как запад от востока; Но любви чего нельзя? Степь и море — ей стезя, Сердце всюду страж и плата, К милой шаг и до Багдада. [1828]

ЕЙ

Когда моей ланитой внемлю Пыланию твоих ланит, Мне радость небеса и землю И золотит, и серебрит;

Душе так сладко и покойно, И тих, и волен сердца ход: Так солнце катится беззнойно На лоно зеркальное вод. [1828]

АЛИНЕ

Еще, еще одно лобзанье! Как в знойный день прохлада струй, Как мотыльку цветка дыханье, Мне сладок милой поцелуй. Мне сладок твой невинный лепет И свежих уст летучий трепет. Очей потупленных роса И упоения зарница... Всё, всё, души моей царица, — В тебе и прелесть, и краса! Какой отрадой повевает С твоих кудрей, с твоих ланит! Дыханье — негою поит, От взора — сотом сердце тает, И быстро молния любви Течет, кипит в моей крови.

Когда ж твой легкий стан объемлю, Я, мнится, покидаю землю... Оковы праха отреша, Орлом ширяется душа! Но целый мир светлеет раем, Когда, восторженные, мы Уста и чувства, и умы В одно лобзание сливаем! О, друг мой, если б в этот миг. Неизъяснимый, невозвратный, Далекий горестей земных. Дней наших факел благодатный Погас в пучине светлых струй И пал за нами смертный полог, --Чтоб был последний поцелуй, Как небо, чист, как вечность, долог! (1828)

(ПЕРЕВОД ИЗ «ФАУСТА» ГЕТЕ)

Блажен, кто лестною надеждой ободряем Безвредно всплыть из океана тьмы. Чего не знаем мы — употребляем, И невозможно то, что знаем мы. (1828)

ФИНЛЯНДИЯ

(посвящено а. а. З......му)

Я видел вас, граниты вековые, Финляндии угрюмое чело, Где юное творение впервые Нетленною развалиной взошло. Стряхнув с рамен балтические воды, Возникли вы, как остовы природы!

Там рыщет волк, от глада свиренея, На черене там коршун точит клев, Печальный мох мерцает следом змея, Трепещет ель пролетом облаков; Туманы там — утесов неизменней И дышат век прохладою осенней.

Не смущены долины жизни шумом; Истлением седеет дальний бор; Уснула тень в величии угрюмом На зеркале незыблемых озер; И с крутизны в пустынные заливы, Как радуги, бегут ключи игривы.

Там силой вод пробитые громады Задвинули порогом пенный ад, И в бездну их крутятся водопады, Гремучие, как воющий набат; Им вторит гул — жилец пещеры дальней, Как тяжкий млат по адской наковальне.

Я видел вас! Бушующее море Вэдымалося в губительный потоп И, мощное в неодолимом споре. Дробилося о крепость ваших стоп;

Вам жаркие и влажные перуны Нарезали чуть видимые руны.

Я понял их: на западе сияло Светило дня, златя ступени скал, И океан, как вечности зерцало, Его огнем живительным пылал, И древних гор заветные скрижали Мне дивные пророчества роптали! 1829 года. Янв. 16 дня

TOCT

Вам, семейство милых братий. Вам, созвездие друзей, Жар приветственных объятий И цветы моих речей! Вы со мной — и лед сомненья Растопил отрадный луч. И невольно песнопенья Из души пробился ключ! В благовонном дыме трубок, Как звезда, несется кубок, Влажной искрою горя — Жемчуга и янтаря; В нем, играя и светлея, Дышит пламень Прометея, Как бессмертия заря! Раздавайся ж. клик заздравной. Благоденствие, живи На Руси перводержавной. В лоне правды и любви! И слезами винограда Из чистейшего сребра Да прольется ей услада Просвещенья и добра! Гряньте в чашу звонкой чашей, Небу взор и другу длань, Вознесем беседы нашей Умилительную дань! Да не будет чужестранцем Между нами бог ланит, И улыбкой, и румянцем,

Нас здоровье озарит; И предмет всемирной ловли, Счастье резвое, тайком, Да слетит на наши кровли Сизокрылым голубком! Чтоб мы грозные печали Незаметно промечтали, Возбуждаемы порой, На веселье и покой! Да из нас пылает каждой. Упитав наукой ум, Вдохновительною жаждой Правых дел и светлых дум; Вечно страху неприступен, Вечно златом неподкупен, Безответно горделив На прельстительный призыв! Да украсят наши сабли Эту молнию побед, Крови пламенные капли И боев зубчатый след! Но, подобно чаше пирной В свежих розанах венца, Будут искренностью мирной Наши повиты сердца! И в сердцах -- восторга искры, Умиления слеза. И на доблесть чувства быстры, И порочному — гроза! Пусть любви могущий гений Даст нам звездные цветы И перуны вдохновений В поцелуе красоты! Пусть он будет, вестник рая, Нашей молодости брат, В пламень жизни подливая Свой бесценный аромат. Чтобы с нектаром забвенья В тихий час отдохновенья Позабыть у милых ног Меч и кубок, и венок. **Февраль** 1829>

ОСЕНЬ

Пал туман на море синее,
Листопада первенец,
И горит в алмазах инея
Гор безлиственный венец.

Тяжко ходят волны хладные, Буйно ветр шумит крылом. Только вьются чайки жадные На помории пустом.

Только блещет за туманами, Как созвездие морей, Над сыпучими полянами Стая поздних лебедей.

Только с хищностью упорною Их медлительный отлет Над твердынею подзорною Дикий беркут стережет.

Всё безжизненно, безрадостно В померкающей дали, Но страдальцу как-то сладостно Увядание земли.

Как осеннее дыхание
Красоту с ее чела,
Так с души моей сияние
Длань судьбины сорвала.

В полдень сумраки вечерние— Взору томному покой, Общей грустью тупит терние Память родины святой!

Вей же песней усыпительной, Перелетная метель, Хлад забвения мирительной, Сердца тлеющего цель! Между мною и любимого, Безнадежное: прости! Не призвать невозвратимого, Дважды сердцу не цвести.

Хоть порой улыбка нежная Озарит мои черты: Это радуга наснежная На могильные цветы! 1829. Апр.

в день именин

А.І. И В. М...... Й

Невольный гость в краю чужбины, Забывший свет, забывший лесть. Желал бы вам на именины Цветов прелестнейших поднесть: Они — дыханию услада, Они — веселие очей. При них бы мне писать не надо Вам поздравительных речей: Желанье счастья без печали В цветах вы сами б угадали... Но — ах! — якутская весна Не зелена и не красна! И здешний май, холодной, дикой, Одной подснежною брусникой, А не лилеями богат. Природа спит, и в поле целом Я разжился одним пострелом, А я слыхал, такой наряд На именины не дарят. Итак, по воле и неволе Пришлось приняться за перо. Хоть я забыл в угрюмой доле Писать забавно и пестро. Примите ж это благосклонно И в шуме праздничного дня Не осудите вы меня За мой привет простой и сонной.

В нем правда — каждая черта; Притом же ваша доброта По слуху, по сердцу и дома И вчуже страннику знакома... В краю зимы и дружбы зимной, Поверьте, только вы одне, Ваш разговор гостеприимной Напоминал друзьям и мне О незабвенной стороне. О. будь же добродетель та же И с нею брат ее — покой, Как неизменный часовой. У сердца вашего на страже; Да никакой печали тень Не хмурит тихий свет забавы, И, проводив веселый день, Поутру встанете вы здравы... Да будут ясны ваши сны. Как небо южныя весны. И необманчивы надежды, И перед вами все невежды, По крайней мере, хоть скромны; Совет подруги чист и верен, Знакомых круг нелицемерен, Неутомителен бостон, Ни бальных скрипок рев и стон! Когда ж на берега великой, На берега моей Невы, Покинув край морозов дикой. Стрелою полетите вы, Да встретят путницу родные, Беспечной юности друзья И все по сердцу не чужие, И вся родимая семья Благополучны и здоровы, И пылки, и разлукой новы, И смех, и радость, и расспрос, И сладкий дождь свиданья слез!!. Зачем же, искра упованья — Дожить до сладкого свиданья, — В груди моей погасла ты? Но я ступил из-за черты

Сорокаверстного посланья. И мне, и вам унять пора Болтливость моего пера, Но знайте: это все с начала По пунктам истина скрепляла, Хоть неподкупна и строга; Тут не сплетал из лести кружев Ваш всепокорнейший слуга....въ.

1829 r. Mas 18

ШЕБУТУЙ

(ВОДОПАД СТАНОВОГО ХРЕБТА)

Стенай, шуми, поток пустынной, Неизмеримый Шебутуй, Сверкай от высоты стремнинной И кудри пенные волнуй!

Туманы, тучи и метели, На лоне тающих громад, В гранитной зыбля колыбели, Тебя перунами поят.

Но, пробужденный, ты, затворы Льдяных пелен преодолев, Играя, скачешь с гор на горы, Как на ловитве юный лев.

Как летопад из вечной урны, Как неба звездомлечный путь, Ты низвергаешь волны бурны На халцедоновую грудь;

И над тобой краса природы, Блестя, как райской птицы хвост, Склоняет радужные своды, Полувордушных перлов мост.

Орел на громовой дороге Купает в радуге крыле,

И серна, преклоняя роги, Глядится в зеркальной скале.

А ты, клубя волною шибкой, Потока юности быстрей, То блещешь солнечной улыбкой, То меркнешь грустию теней.

Катись под роковою силой, Неукротимый Шебутуй! Твое роптанье— голос милой; Твой ливень— братний поцелуй!

Когда громам твоим внимаю И в кудри льется брызгов пыль — Невольно я припоминаю Свою таинственную быль...

Тебе подобно, гордый, шумной, От высоты родимых скал, Влекомый страстию безумной, Я в бездну гибели упал!

Зачем же моего паденья, Как твоего паденья дым, Дуга небесного прощенья Пе озарит лучом своим!

О, жребий! если в этой жизни Не знать мне радости венца— Хоть поздней памятью обрызни Могилу тихую певца.

1829. Май

JHAE

Приди, о, милая, приди На берег изумрудный! Разлуки сон в моей груди Тяжелый, беспробудный.

Приди и сердце оживи Очей волшебным светом, Невинной ласкою любви, Младенческим приветом!

С тобой, красавица-душа, Светлее утра слезы И, благовоннее дыша, Горит румянец розы.

С тобой, струями говоря, Поток сверкает ярче, Свежей вечерняя заря И тихий полдень жарче.

И мнится, воздух напоен Неведомым томленьем И лист, зефиром оживлен, Трепещет наслажденьем.

И, к смертным благости полна, По синеве бездонной Над нами катится луна С улыбкой благосклонной.

Приди, о, милая, приди! И страсти вал мятежной Ты укротишь в моей груди Елеем дружбы нежной. [1829]

РАЗЛУКА

О, дева, дева, Звучит труба! Румянцем гнева Горит судьба! Уж сердце к бою Замкнула сталь, Передо мною Равлуки даль.

Но всюду, всюду, Вблизи, вдали, Не позабуду Родной земли: И вечно-вечно — Клянусь, сулю! — Моей сердечной Не разлюблю. Ни лень истомы, И страх, и месть, Ни битвы громы, Ни славы лесть, Ни кубок пенной, Ни шумный хор, Ни девы пленной Манящий взор...

[1829]

пресыщение

Ты пьешь любви коварный мед, От чаши уст не отнимая, И в сердце юное течет Струя восторгов огневая; И упоен, и утомлен, Ты ниспадаешь в тихий сон. Мечтаний рой тебя лелеет, Кропя росою сладких слез. Так с жадных крыл прохладу веет На жертву неги кровосос; Так в цвете истлевают силы От пресышенья в пыль могилы. Ты скажещь: «Мил заветный плод, Не дважды молодость цветет И без желаний волны Леты Шумят всегда у наших стоп!» Но ты и сердцу прежде меты Готовишь гибельный озноб И поздний плач, и ранний гроб. [1829]

Зачем меня в тяжелом сне Тревожат лестные веленья? Нет, не поминок обо мне, Я жажду струй самозабвенья! Мое любимое давно Во прахе лет погребено. Минувших дней змеиный свиток Хранит лишь бед моих избыток И радостей, которых нет, Неизменимо-хладный след. Зачем, зачем же вы желали Мне сердце пробудить опять, В свои летучие скрижали Мою кручину записать? Зачем? Вам будут непонятны Страстей мятежных письмена И воли грозная волна, И прихоть думы коловратной, Которой сила, как стрела, Сквозь ад и небо протекла.

Но дайте года два терпенья, И, может быть, как важный гусь, И я по озеру смиренья Бесстрастно плавать научусь. Когда с порой мечтанья минет Вся поэтическая дурь И на душе моей застынет Кипучий след минувших бурь. Тогда поэт благоразумный, Беспечно сидя на мели, Я налюбуюсь издали На треволненье жизни шумной; Тогда премилый ваш альбом Я испещрю своим пером. И опишу отменно точно. Что я случайно иль нарочно Изведал на своем веку: Печалей терны, счастья розы,

Разлуки знойную тоску
И неги сладостные слезы,
И свод небес, и ропот струй,
И вечно первый поцелуй.
Тогда, покорен вашей воле,
На арзерумского пашу
В пятнадцать песен, даже боле,
Я эпопею напишу.
Зато позвольте мне дотоле,
Скрепив измученную грудь,
От рифм и горя отдохнуть.
[1829]

ЧАСЫ

И дум, и дел земных цари, Часы, ваш лик сияет страшен, В короне пламенной зари, На высоте могучих башен, И взор блюстительный в меди Горит, неотразимо верной,

И сердце времени в бесчувственной груди Чуть зыблется приливом силы мерной. Оживлены чугунною стрелой,

> На вас таинственные роки, И оглашает вещий бой Земле небесные уроки.

Но блеск, но голос ваш для ветреных племен Звучит и озаряет даром,

Подобно молнии неведомых письмен, Начертанных пред Валтасаром.

«Летучее мгновение лови»,

Поет любимцу голос лести:
«В нем золото и ароматы чести,
Последний пир, свидания любви
И наслажденья тайной мести».

И в думе нет, что упований прах Дыханье времени уносит, Что каждый маятника взмах Цветы неверной жизни косит.

Заботно времени шаги считает он

И бой к веселию призывный. Еще не смолк металла звон. А где же ты, мечты поклонник дивный? Окован ли безбрежный океан Венцом валов, — минутной пеной? Детям ли дней дался победный сан Над волей века неизменной? Безумен клик «хочу — могу». Вознес Наполеон строптивую десницу, Сдержать мечтая на бегу Стремимую веками колесницу... Она промчалась! Где ж твой меч, Где прах твой, полубог гордыни? Твоя молва — оркан пустыни, Твой след — поля напрасных сеч. Возникли светлые народов поколенья, И внемлют о тебе сомнительную речь С улыбкой хладного презренья.

COIL

[1829]

Зачем зарницею без гула Исчезла ты, любви пора, И птичкой юность упорхнула В невозвратимое «вчера»? Лавно ль на юношу, давно ли, Обетом счастия горя. Цветами радости и воли Дождила светлая заря? Лавно ль с родимого порога Сманида жизнь на пышный пир И, как безгранная дорога, Передо мной открылся мир? И случай, преклоняя темя, Держал мне золотое стремя, И, гордо бросив повода, Я поскакал туда, туда!... Летим — сорвал бразды шелковы Неукротимый конь судьбы, И брызжут пламенем подковы, Гремя о плиты и гробы.

Я обезумел, воздух свищет — Все вдаль и вдаль, надежда прочь, И вот на нас упала ночь, И под скалою бездна прыщет, Над головой расшибся гром, И конь, и всадник, прянув с края, Кусты и глыбы отрывая, В пучину ринулись кольцом. Замлело сердце! Вихрь кончины Мне обуял и взор, и ум. Раздавлен на брегу пучины, Едва я слышу рев и шум. Вот набегают грозно, жадно За валом вал наперерыв; Уж мой отчаянный призыв Стихает, залит пеной хладной... И вдруг с утеса на утес, Как зверь, поток меня понес

. Очнулся я от страшной грезы, Но все душа тоски полна, И мнилось, гнут меня железы К веслу убогого челна. Вдаль отуманенным потоком. Меж сокрушающихся льдин, Заботно озираясь оком, Плыву я грустен и один. На чуждом небе тьма ночная: Как сон, бежит далекий брег, И, шуму жизни чуть внимая, Стремлю туда невольный бег, Γ де вечен лед и вечны тучи, И вечносеемая мгла, Где жизнь, зачахнув, умерла Среди пустынь и тундр зыбучих, Где небо, степь и лоно вод В безрадостный слияны свод, Где в пустоте блуждают взоры И даже нет стопе опоры! Плыву. На тихом сердце хлад, Дремотой лени тяжки вежды, И звезды искрами надежды

В угрюмом небе не горят. Забвенья ток меня лелеет, Мечта уснула над веслом, И время в тихий парус веет Своим мирительным крылом. Всё мертво у меня кругом... И близко бездна океана Белеет саваном тумана. [1829]

к облаку

Куда столь быстро и легко, И гордо, и прелестно, Ты пролетаешь, облачко, Скиталец поднебесной?

Земли бездомное дитя, Игралище погоды, Напрасно, радугой блестя, Ты, радостью природы!

Завоет вихрь, взметая прах — И ты из лона звездна Дождем растаешь на степях Бесславно, бесполезно!..

Блести, лети на ветерке, Подобно нашей доле — И я погибну вдалеке От родины и воли! 1829. Якутск

дождь

Провиденья перст незримой, Облаков летучих вождь, Ниве, жаждою томимой, Посылает шумный дождь. Звучно, благостью обильный, Брызнул ток живой воды, Освежая злаки пыльны И замершие плоды. Вот и радуга завета Капли светлые зажгла: То улыбка бога света — Сень бессмертного чела. [1829]

ОЖИВЛЕНИЕ

Чуть крылатая весна Радостью повеет, Оживает старина, Сердце молодеет; Присмирелые мечты Рвут долой оковы, Словно юные цветы Рядятся в обновы, И любви златые сны, Осеняя вежды, Вновь и вновь озарены Радугой надежды.

(М. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ)

Ты взора не сводил с звезды своей вожатой И средь пустынь нагих, презревши бури стон, Любви и истины искал святой закон И в мир гармонии парил мечтой крылатой. (1829)

«ИЗ ПОВЕСТИ «ИСПЫТАНИЕ»

Скажите мне: зачем пылают розы Эфирною душою по весне, И мотылька на утренние слезы Манят, зовут приветливо оне?

Скажите мне!

Скажите мне: не звуки ль поцелуя Дают свою гармонию волне? И соловей, пленительно тоскуя, О чем поет во мгле и тишине? Скажите мне!

Скажите мне: зачем так сердце бьется, И чудное мне видится во сне? То грусть по мне холодная прольется, То я горю в томительном огне? Скажите мне!

(1830)

ПРИПИСКИ К БОГАТОМУ НАДГРОБИЮ В БЕДНОСТИ УМЕРШЕГО ПОЭТА

Не спас от нищеты полет орлиных крил, Ни песней дар, ни сердца пламень! Жестокие! У вас он хлеба лишь просил, Вы дали — камень.

(1831)

ЭПИГРАММЫ

ı

Люблю я Критика Василья— Он не хватает с неба звезд. Потеха мне его усилья Могущих дум замедлить рост: Вороне мил павлиний хвост, Но страшны соколины крылья!

o

Клим зернами идей стихи свои назвал; И точно, все, как зерна, их лелеют: Заключены в хранительный подвал, Пускай они до новой жизни тлеют!

5

Да, да, в стихах моих знакомых Собранье мыслей — насекомых! (1828—1831)

OTBET

Литература наша — сетка На ловлю иноморских рыб; Чужих яиц она наседка; То ранний плод, то поэдний гриб; Чужой хандры, чужого смеха Всеповторяющее эхо! (1831)

(ИЗ ПОВЕСТИ «АММАЛАТ-БЕК»)

1

(СТАРИННАЯ ПЕСНЯ КАБАРДИНЦЕВ)

На Казбек слетелись тучи, Словно горные орлы... Им навстречу, на скалы Узденей отряд летучий, Выше, выше, круче, круче Скачет, русскими разбит: След их кровию кипит.

На хвостах полки погони; Занесен и штык, и меч; Смертью сеется картечь... Нет спасенья в силе, в броне... «Бегу, бегу, кони, кони!» Пали вы, — а далека Крепость горного леска!

Сердце наших — русским мета...
На колена пал мулла —
И молитва, как стрела,
До пророка Магомета,
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль-Алла, — не выдай нас!»

¹ Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня персведена почти слово в слово. (Примеч. А. Марлинского.)

Нет спасенья ниоткуда! Вдруг, по манию небес, Зашумел далекий лес: Веет, плещет, катит грудой, Ниже, ближе, чудо, чудо!.. Мусульмане спасены Средь лесистой крутизны! (1831)

2

СМЕРТНЫЕ ПЕСИИ (КАБАРДИНЦЕВ)

XOP

Слава нам, смерть врагу, Алла-га, Алла-гу!

Полухор

Плачьте, красавицы, в горном ауле, Правьте поминки по нас: Вслед за последнею меткою пулей Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница к ночному покою, — Нас убаюкает гром; Очи не милая черной косою — Ворон закроет крылом! Дети, забудьте отцовский обычай: Он не потешит вас русской добычей!

Второй полухор

Девы, не плачьте: ваши сестрицы, Гурии, светлой толпой, К смелым склоняя солнцы-зеницы, В рай увлекут за собой!

Братья, вы нас поминайте за чашей: Вольная смерть нам бесславия краше!

Первый полухор

Шумен, но краток вешний ключ! Светел, но где он — зарницы луч? Мать моя, звезда души, Спать ложись, огонь туши! Не томи напрасно ока, У порога не сиди; Издалека, издалека Сына ужинать не жди.

Не ищи его, родная, По скалам и по долам; Спит он... ложе — пыль степная, Меч и сердце пополам!

Второй полухор

Не плачь, о мать, твоей любовью Мне билось сердце высоко И в нем кипело львиной кровью Родимой груди молоко; И никогда нагорной воле Удалый сын не изменял: Он в грозной битве, в чуждом поле, Постигнут Азраилом, пал. Но кровь моя, на радость краю, Нетленным цветом будет цвесть, Я детям славу завещаю, А братьям — гибельную месть!

X o p

О братья! творите молитву; С кинжалами ринемся в битву! Ломай их о русскую грудь... По трупам бесстрашного путь! Слава нам, смерть врагу, Алла-га, Алла-гу!

(1831)

поэтам

АРХИПЕЛАГА НЕЛЕПОСТЕЙ, В МОРЕ ИУСТОЗВУЧИЯ

Печальной музы кавалеры! Признайтесь: только стопы вы Обули в новые размеры, Не убирая головы! И рады, что нашли возможность, На разум века не смотря, Свою распухлую ничтожность Прикрыть цветами словаря! (1832)

* * *

Я за морем синим, за синею далью Сердце свое схоронил.
Я тоской о былом ледовитой печалью, Словно двойной нерушимою сталью, Грудь от людей заградил.

И крепок мой сон. Не разбит, не расколот Щит мой. Но в мраке ночей Мнится порой, расступился мой холод И снова я ожил, и снова я молод Взглядом прелестных очей.

[1834]

ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ кн. н. у.***

28 авг. 1835 г. Пятигорск.

Ты улетаешь, Ангел света. И свет души уносишь ты, Но не зальет годами Лета Тобой зажженные мечты.

А я бы жаждал в тьме забвенья, В холодной бездне утонуть. О сердце! Милое виденье Ты навсегда забудь, забудь!

Запомни сладость первой встречи, И негой думы полный взор, И ум чарующие речи, И голос — ключ певучий гор!

Нет, не падет росой целебной Слеза прощальнай на грудь. Забудь, о сердце, сон волшебный — И навсегда забудь, забудь...

(ИЗ ПОВЕСТИ «МУЛЛА НУР»)

(ВОСТОЧНАЯ ПЕСНЯ)

Для чего ты, луч востока, Рано в сень мою запал? Для чего ты стрелы ока В грудь мне, юноша, послал?

Светит взор твой — не дремлю я; Луч блеснул — и сон мой прочь. Так, сгорая и тоскуя, Провожу я день и ночь!

У меня ли бархат — ложе, Изголовье — белый пух, Сердце жар; и для кого же, Для кого, бесценный друг? (1835—1836)

плывет по морю

(HA FOJOC: KAK HO KAMEHIKAM YUCTA PEYEHBKA TEYET...)

Плывет по морю стена кораблей, Словно стадо лебедей, лебедей. Ой жги, жги, жги, говори, ¹ Словно стадо лебедей, лебедей. Волны по морю кипят и шумят, Меж собою таку речь говорят: «Уж зачем это наши корабли, Как щетиною, штыками поросли?

¹ Этот припев повторяется восле каждых двух строк, с повторением последней.

Уж не будет ли турецкая кровь Нас румянить по-старому вновь?»

Тучи по небу летят и шумят, Меж собой они речь говорят: «Для чего полны солдат корабли, У орудий курятся фитили?

Уж недаром слетаются орлы,

Как на пир, на черкесские скалы». Паруса надуваются, шумят, Что на палубах солдатушки сидят.

Им ефрейторы делают наряд, Усачи молодым говорят: «Ей вы гой еси Кавказцы-молодцы, Удальцы, государевы стрельцы!

Посмотрите, Адлер мыс недалеко, Нам его забрать славно и легко. Каждый гоголем встряхнись, встрепенись, Осмотри ружье да в шлюпочки садись.

С кораблей врагам пару поддадут, Через головы там ядра заревут. А чуть на мель, мы вперед, усачи, Сумы в зубы, в воду по пояс скачи!

Вражьих пуль не считай, не зевай, Мигом стройся, да команды ожидай. И придет вам потешиться пора — Дрогнет Адлер от солдатского ура.

Беглым шагом на завал, на завал, Тому честь и крест, кто прежде добежал. В рукопашную пали и коли, И вали, и усами шевели.

Нам похвально, гренадеры, егеря, Молодцами умирать за царя. Нам не диво, гренадеры, егеря, Пить победную чару за царя.

Ой жги, жги, жги, говори, Пить победную чару за царя!»

На 44 пушечном фрегате «Анна» 5 июня 1837 г.

II

АНДРЕЙ, КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ

повесть

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ СОЧИНИТЕЛЯ ПОВЕСТИ: АНДРЕЙ, КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ

Нашего полку прибыло, прибыло, Ой, дид-ладо прибыло!

Старинная песня.

В лето от сотворения мира по греческим хронографам 7335-е, я, нижеподписавшийся, лежал на кровати своей, перелистывая черепословную систему доктора развитую Спурцгеймом, и очень досадуя на природу, что она не выставила нумеров на мозговых моих органах. для легчайшего прииска. Шупая и перешупывая. однако ж, все выпуклости на кивоте моего тения, весьма был я изумлен, когда указательный мой перст встретил на нем шишку воображения и потом пирамиду сравнения, двух несомненных спутников Поэзии. Чорт меня возьми! вскричал я тогда (грешный человек, это мое любимое восклицание), - мудрено ль, что у меня издавна чесались руки на стихотворство, когда сама предназначила меня быть поэтом! И как до сих пор не последовал я своему призванию?.. Не говорил ли мне немец, сапожник и эстетик вместе, что в ногах моих есть что-то поэтическое! Не пожаловала ли меня в русского Парни полдюжина приятелей, с которыми осушил я две дюжины шампанского! Не назвали ли меня две премилые дамы поэтом за то, что в альбомах я поставил их, кажется, двумя градусами выше всех языческих богинь! А собственное сознание, Мм. Гг., разве копейка? Я с младенчества чувствовал, что во мне шевелится эксентрическое сердце, и если под розгами не плакал гекзаметрами, подобно славному латинскому поэту, зато ранее мог отличить ямб от хорея, чем винительный падеж от предложного. При том же два доктора, съевшие на черепах зубы, должны знать свое дело, и мадам природа, верно, не так неучтива, чтобы избрать мою голову для забавного исключения. Решено и подписано: я поэт; поэт на эло судьбе!

Нечего и сомневаться, что по духу времени и вкусу я был романтик до конца ногтей. Нечего и сказывать, что я хотел первую попытку свою вылить в историческую форму. Недоставало мне только героя, а герои в наш героический век от стечения их на базар славы стали так редки, что сам Байрон перечел сотни две имен, не зацепясь ни за одно. Надобно было просевать пепел русской старины, а, на беду, я жил тогда в чужой земле, без русских книг, даже без русских знакомцев. Перерывая в сумке памяти (которой крепостию не могу похвалиться), попал я на Андрея, князя Переяславского, проименованного Добрым: его-то избрал я козлом грехоносцем; на него-то навьючил все грехи своего поэтического Израиля, все ошибки воспоминания. Раз, два — и повесть, носящая на себе это имя, вылезла из головы моей до половины, как Минерва из головы Юпитера, в заржавой старинной кольчуге, только в недошитом кафтане и с носом-недорослем, который злая судьба грозилась уже ему приставить без моего содействия. Господа стихотворцы знают, как пишутся нынешние поэмы, и потому для чего мне распространяться, как мысли за недочетом рифм, или рифмы за неявкою мыслей: из десяти начатых картин едва ли две доходили до половины, и я было хотел, по вольности словесного цеха, сшивать окончания белыми стихами, как белыми нитками. Одиночество удивительно как надувает самолюбие: сам пишещь, сам себя похваливаещь. Сперва смиренно говоришь: «Кажется, это не дурно!» Потом кажется превращается в точно, и точно в несомненно. Некому оспорить, покритиковать, исправить. Скоро, однако же, простыл творческий жар мой: я устал прыгать по-стрекозиному от предмета к предмету, не имея терпения склеивать их гладко. Два месяца потом мое разбросанное сочинение казалось мне прекрасным; еще через два хорошим, там изрядным, и через полгода я нашел его только-только что сносным. Лица в нем были замысловаты не по своему веку, речи пышны не по людям;

Ompoisons us V notine nosile Andrew Ruago eTepencialeria · · On cesmoù vogesfezt nusurpusua Merems And per. Hadorit ere Nongeoxpsima, nongspuna deseums oxosbuar empara Il nomanademo Rohers coma na Bohna npozparnaro my mana Mexigo ree to ment potau Eyou urparent oronoxu Ey do Titrom? be desnipsoxt Boeraraabruroba Taxamku Rogovão Robissans dager Thopostno smat desegés Ryanu Rudskae zunus drennens A Rusmu drebna, be blimunt Ompyei restonemoù orbennenz

Il bee organis to Englisone cut.

одним словом: я обул в русские лапти немецкую философию. Это сознание, соединенное с божественною ленью, по которой я сам могу метить в полубоги, было виной, что князь мой остался о двух головах, хотя я предполагал его сделать, как змея-горынича, шестиглавым. Не то, чтоб я отрицал в этой повести все постоинства: в ней есть свежие картины, удачные сравнения, звонкие стихи, нигде не заимствованные мысли; смею сказать, что, если б я продолжал ее, остальные главы, возвышаясь занимательностию, могли бы искупить недостатки предыдущих; но все-таки я убедился, что в ней не было бы этой купности, этого целого, знаменующего физиогномию гениальных произведений, и бросил поприще, на котором не льстился опередить многих. Для себя, собственно, я не навсегда отказался от прелестной болтуньи поэзии, которая дарила меня столь сладостными часами забвения страданий; но теперь ствуюсь одними прогулками, а не дальними путешествиями с нею. Итак, ММ. Гг., несмотря на свою поэтическую звезду, на свои призвательные шишки на черепе, под № 16 и 30-м (зри френологию), даже несмотря на уверенность, что я с большою легкостью могу писать так же вздорно, как другие, я отказался от бумажного венка поэта. Очень бы рад был, если бы моя исповедь послужила уроком для многих молодых стихотворцев.

Впоследствии, пересекая Россию, чтобы отправиться в одну из дальних ее провинций, я отдал одной душевно уважаемой мною знакомой даме единственную черновую тетрадь, в которой заключались две главы Андрея Переяславского и некоторые отрывки следующих, как обломок вавилонского столпа, на котором хотел я спастись от потопа забвения, как летучий след моей пролетной метромании.

Вот в одно прекрасное утро в 1828 году приносят ко мне Московские Ведомости, и что же? Между продажными пустопорозжими местами, поезженными дормезами и прачками, которые умеют шить и гладить, и проч. и проч., отпускаемыми в услужение, начитываю, что мой бескорыстный Андрей Переяславский напечатан и поступил в продажу! Если справедливо выражение, что люди падают с облаков от изумленья, так это был я. Во-

образите себс лунатика, пробудившегося посреди полного партера в халате и колпаке, и вы еще булете иметь несовершенную идею об авторе, которого в таком неприборном виде вывели в публику! Никогда не приходила мне мысль, даже в самом пылу стихотворной горячки. печатать неконченную пьесу, не только едва набросанную главу ее. Дон-Жуан не указ для тех, кто не рожден с гением Байрона, и, по пословице: «первый кусразбойник», я знал, что завтрак портит вкусные обеды. Какова же была моя досада, увидев себя так напечатанным! Я хотел писать отрицание, ссориться с издателем, бесновался, как шаман, но до почтового дня уходился. притих и размыслил, что публика, наверно, пропустит без внимания пьесу, написанную без связи, следственно, забвение постигнет ее так же хорошо в книжном амбаре, как и в чемодане моем. Дело вышло, однако ж, не совсем по-моему. Г-да журналисты вытянули ее на миг из Леты своими вопросительными удочками: один сказал, что повесть эта грешит надмерною отделкою стихов, другой, что они слишком небрежны, но никто не заметил важного промаха моей памяти, что я, бог весть за какую вину, сослал Андрея, князя наднепровского Переяславля, под Карпатские горы, на Дунай. Не желая накликать на себя большой грозы, я притаился, и, благодаря все умиряющему совестному судье, времени, повесть моя, критика на нее, и рецензия на критику — все кануло в воду.

Вдруг, ровно через три года, явилась 2-я глава моего Андрея, в 41-м № журнала Галатеи — явилась, и, признаться сказать, еще неумытее старшей сестрицы своей. Вельми изукрашена была первая пропусками, описками, недописками, опибками самородными и привитыми корректором; но вторая далеко оставила ее за собой: она, по словам Вальтер-Скотта, представилась в «самом удивительном беспорядке». Я думаю, — крепко ахали разногласные отрывки и параграфы, когда мощная рука переплетчика свела их на очную ставку! Во многих местах недоставало целых страниц, в других не вписано поправленных или вычеркнутых стихов, полустиший, тирад; да, кроме того, рука моя так походит на гусарскую цифровку, что не мудрено было переиначить смысл ошибками,

и надо признаться, что их куча, и презабавных для всех, кроме автора. ¹

Публика, не ведающая ни отношений, ни намерений сочинителя, была в полном праве ожидать, что он, после трехлетнего молчания, вероятно, посвященного отделке, попотчует ее чем-нибудь совершеннейшим первого рбразчика: что рассказ его будет плавнее, действие живее, поэзия блистательнее — и увидела вместо того какой-то сон Жан-Поля, с намеками, связанными бусами точек, многозначащих и шичего не стоящих!.. Она не может не осуждать автора за такую небрежность; но, со своей стороны, невинный в этом автор, т. е. я, не депавший никого своим душеприказчиком, объяснив происхождение Андрея Переяславского, считаю долгом объпвить почтенным читателям, которые были завлечены на чтение оного любопытством и покинули его от нетерпения, что повесть сия напечатана не только без моего ведома, но против моей воли. В отношении же к неизвестному даже мне Издателю 1-й главы, и приславшему к Г-ну Раичу 2-ю, я сожалею если это нескромность, и негодую если спекуляция.

Александр Марлинский

Дагестан 1831

¹ Например, возъмем последний параграф, когда Любомиру во всем слышатся ужасы, то вместо: «и тяжек стон коростеля»— напечатано: «и тяжек сон коростеля». Желаю знать, какой смысл находил тут издатель? Многие наблюдали мечтания спящих собак, но никто еще не проник в тайны грез птичьих; да если б и было так, я всё еще не понимаю, почему эти грезы могут казаться тяжкими. Прим. Соч.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Действие происходит вблизи Надунайского Переяславля или в самом городе и занимает пять дней времени. Происшествия каждого дня составляют главу.

Как взор любви или обеты славы, Пленительна святая старина, Прапрадедов деянья величавы И тихий быт, и грозная война! Призыв ее чарующий внимая, Душа гулит, как арфа золотая! Минувшее встекает предо мной, Объятым наяву мечтой дремотной: Богатыри медлительной стопой Мимоидут в осанке беззаботной. Я знаю вас, питомцы древних лет! На вас горит бытописаний след.

Не раз меня мечта моя носила В край Галича, на роскошный Дунай... Святслава честь и царство Даниила — О, северным мечом добытый край! — В полях твоих мне чудилися деды, Их бранный гул и шумные победы. Но впили кровь и славу их — поля, Их доблести развеяла чужбина; И, русского хвалой не веселя, Родных певцов безмолвствует дружина! Но луч упал, раздался рокот струн, — Как по небу далекому перун!..

путь

T

Пылая зноем, полдень сонной Лежал над Русию Червонной. Прильнула тень к подножью скал Уединенного Карпата; На речке лебедь задремал, Несом волной живого злата. И под огнем полдневных стрел Путь византийский опустел. Склоняясь влево над потоком С нагория к Дунаю, он Идет в величьи одиноком От дальних Киева сторон. Но что за путник над курганом, Склонясь на боевой топор, Плечо под буркою с колчаном, На тихий путь наводит взор? Кто сей другой... К земле приникнув головою? Быть может, обоих ловнов Поутру выманила травля Из ближних стен Переяславля. Но с ними нет ни соколов, Ни ловчих псов; их дики взгляды, На них не русские наряды, В полукафтаньях до колен, В зеленых туфлях, в шапках черных, И сабли кочевых племен, Ножи на поясах наборных... То цвет разбоя и войны, То грозных половцев сыны.

II

Первый половец Что, видно ль?

Второй половед
Никого не видно...
Спокойна по дороге пыль,

И не шелохнется ковыль, Всё спит.

Первый

Досадно и обидно;
Мы даром более трех дней
Отлучены своих степей
И милых таборов. Не я ли
Тебе предсказывал, Топаз,
Что в этой незнакомой дали
Добыча трудная для нас;
В охрану путников чужбины,
Славян и Греции гостей,
Дает воителей дружины
Князь Переяславский Андрей.
Не лучше ль, знамена любые
Избрав, с толпою красных жен
Катить палатки боевые
За Днепр или за тихий Дон?

Второй

Где ж видел ты орлов дубравы К добыче стаями полет? Ла и на Русь открыт нам след Не для добычи, а для славы: Затем, что к золоту ключи У ней — двуострые мечи. Нам дорог стал в глуши бесследной С детьми Олега бой победной! Из них отважнейший Всевлад. Засев на киевском престоле, С князьями, с нами драться рад И в городах, и в чистом поле. А Поволожья стороны, В обиду половцам, едва ли Князь Володимира сыны Дадут? Мы это испытали В несчастьи Глебовской войны. Здесь то ли дело! Край обильной, Народ ленив, народ богат, И по дороге вечно пыльной

Гостей и денег перекат. Поверь, Кончак, пора наступит: Мы отобьем, что слабый купит.

Ш

Кончак

Надежды — в небе журавли, Я их сменяю на синицу; Мне гор жемчужных не сули, А только в руки дай элатницу.

Топаз

Терпенье в грабеже, в бою, Нужней отвати молодецкой; Я первый раз не узнаю В тебе привычки половецкой! Ужели, в гриднице княжой Полгода выслужа из неги, Ты скучил волей кочевой, Ты разлюбил свои набеги? И степь раздольную сменил На душность города могил?

Кончак

Топаз! Сомнение напрасно! На древней русской стороне Всего довольно, всё прекрасно, Да не по сердцу что-то мне. На их пиры, на их моленья, Дивясь причудам, я глядел, И разгадать я не умел У них к разбойникам презренья.

Топаз

Позора этого вина — Ленивых душ пустые толки. Зачем же коней режут волки? Зачем же беркут бьет овна? Зачем всему владыко — сила,

И только воля ей закон? Пускай нам платит Днепр и Дон, Когда нас брань усыновила!

Кончак

У них один грабеж — война.

Топаз

Глупцы! Как будто знамена Их совесть с правдой освежают! Не те ль опасности и кровь. Не та ли ж к выгоде любовь — Разбой и битвы украшают? Когла же выпалет и нам Вернуться к родовым шатрам С добычей золота богатой, — Сберется любопытный стан Вкруг нашей кровли полосатой. Сам на поклон приедет хан... И загремят веселья чаши Хвалу счастливым удальцам, И гордо станут девы наши Добро показывать гостям: Ковры, блестящие монисты, Насечку дивную броней. Сафьян и черных соболей, И узорочья серебристы!... Кто спросит, где они взяты? Орканами иль на шиты?...

IV

Воображением носимой,
Предвидит половец возврат,
Приветливость семьи родимой
И лепетанье половчат.
Жены любезной клик он внемлет,
Ее дарит, ее объемлет;
Малютка, сын его, кругом
На сабле прядает верхом,
В нем тает сердце ретивое,
Течет поток неслышных слез...

Очнулся он... Дремал утес, И всё окрестное в покое.

Топаз

Чу! звон копыт! вставай, Кончак! Нам будет выгодное дело, Готовь разрывчатый сайдак. Ты видишь: русский едет смело!

Кончак

Как жар, под золотом броня, Как мак, расцвел шелом хвостатой; Один убор его коня Нам будет славною заплатой.

Топаз

Не позабудь и крепость плеч, Не позабудь булатный меч!

Кончак

Клянусь мечом, домой поскачет Не празден удалой бегун! Или жена меня оплачет И волк разгонит мой табун!

Топаз

Метнем-ка жеребий: не мне ли И первый бой, и главный пай? Смотри: элатницы полетели, Падут... упали... выбирай: Лицом копье или решетка?

Кончак

Постой... решетка.

Топаз

Угадал, Перед тобой твоя находка!

Кончак

Дождался я, чего желал.

Топаз

Знай, если путник на долине Не отдохнет в полдневный жар, Мы из-за камня в той стремнине Внезапный совершим удар. Пора!..

Исчезли. Высь кургана, Пустая днем, озарена, Незыблемы верхи бурьяна, По холмам сон и тишина, — И мнилось, древняя могила Сынов разбоя поглотила.

v

И вот. где Лебедем рекой Охвачен круто лес дубовый, Съезжает витязь молодой И бросил повода шелковы, Пленен пустынною красой. Хребта Карпатского вершины Произали синеву небес. И оперял дремучий лес Его зубчатые стремнины. Обложен степенями гор. Расцвел узорчатый ковёр, Развитый по низу долины; И вдаль, прелестен, одинок, Змеился Лебедя поток; В него плакучие березы Роняли утренние слезы, И под наклон младых ракит, Под сенолиственные ивы Поток задумчивый катит Невидимо струи ленивы, То померкая, то порой Лучом изменчивым сверкая, Он, точно лента голубая,

Подернут битью золотой, И яр песок по оба края Лежит перловой бахромой.

VI

И грустно видит сей воитель: С холма отшельников обитель В струях глядится; но она Разрушена, попалена И опустела от набегов Неукротимых печенегов. Вот с утомленного коня Спрянул, кольчугою звеня; Копье и меч и щит тяжелый Слагает на луку седла.

Кругом бредучею стопою Развалины обходит он; Их дикий плющ со всех сторон Облек узорной пеленою. И сводов гордое чело Травой и мохом поросло. Везде видна печать пожара, Везде река его текла, Здесь токи меди и стекла, Там своды треснули от жара, Глав нет; к отверстым небесам, Как благовонное кадило, Шиповник льет свой фимиам. И веет ветер легкокрылой По онемевшим алтарям, — И там, где благовест моленья Будил далекие селенья, Всё тихо, благодатный гул Навек в развалинах уснул.

VII

Вступает витязь на кладбище, Усопших братий пепелище; Объят неведомой тоской,

Он сел на камень гробовой. Повел задумчивые взгляды Вдоль полурухнувшей ограды, И так, опершися на меч. С самим собой заводит речь: «О время, ангел истребленья, Деяний, зданий старины! Хоронишь ты в степи забвенья Великих мира и войны: И лишь случайно, лишь украдкой Одно из тысячи имен, Обломок на пути времен. Покрытый басенной догадкой, Векует метою племен. Как звон трубы, стихает слава, Как башня, падает держава, И я...» Домолвить он не мог, Волнует грудь зловещий вздох, Упали долу взоры ясны; И видит он, в траве, в пыли, Забытый череп на земли, И обновленья сын прекрасный, Небес летающий цветок, Над ним порхает мотылёк!...

VIII

Как путнику, по ночи хладной, Сквозь полог дожденосных туч Блистает первый солнца луч, Даря надеждою отрадной, — Так, убежденьем озарён, В душе своей мечтает он: «На свете нет уничтоженья; Везде истления звено Рукой святого Провиденья С персрожденьем сцеплено! В цвету, конечно, тлен таится, Но в тленных зернах спеет плод, И небо росу им лиёт; И жизнь, и смерть потоком вод На лоно вечности катится.

Упали стены — грозный след Людей и времени побед; Промчалось гибельное пламя По сводам тихого жилья... Но веет обновленья знамя Над ними веткой былия, И, корнем плиту разрывая, Вэбегает ясень молодая...

IX

Так рано ль, поздно ли, с коня Сорвет кончина и меня: В сосновые оденет латы. В могильный уберет шелом И подземельные палаты Задвинет каменным щитом, И слава имени Романа, Как с дальних гор венец тумана, Растает, высохнет росой!.. Но. как на башне дуб зеленой, Как пвет над мертвой головой, Я расцвету, и славы бренной Покинуть прах не захочу; Подобно чистому лучу, Купаясь в наслажденьях новых, На ясных крыльях мотыльковых, Прочь улетит душа моя В семинебесные края!» Встал витязь, хладною струею Лицо горящее омыл: Потом заботливой рукою Коня из пілема напоил: Уздечку снял, и конь на воле Муравку щиплет в чистом поле. И вот. склонясь перед мечом, Творит обычные молитвы. И сладостно вкусил потом Добычу утренней ловитвы; И на роскошную траву В тени черемхи благовонной Отягощенную главу

Склонил воитель утомленной... И на нее слетают сны Под шум ключей, под стук желны.

 \mathbf{x}

Проснись! Убийца над тобой Неслышной медяницей вьется, Сверкает сталью роковой!...

Кончак

Он крепко спит!

Топаз

И не проснется! Однако ты, храня доспех, Руби по шее обнаженной: Ценней и соболиный мех, Нигде стрелами не пронзенной. Не промахнись, товарищ мой, На похвальбу родному краю; А я поспешною рукой Коня боярского поймаю! Вскипело сердце Кончака: Он, блеском золота плененной, Подобно волку, в два прыжка Достигнул жертвы усыпленной.

ΧI

И, между тем, в зловещем сне Роман несется на коне В одежде легкой зверолова: Один в заповедных лугах Он травит буйвола княжова; Уходит зверь в его глазах И, по следам напрасно лая, Отстала выжлица лихая... Но все быстрей, вперед, вперед, Охотник смелый наддает, И в лес под Киевом дремучий

Усталый вол его ведет Сквозь мрак елей, сквозь терн колючий... И мыслит он: «ты мой теперь!» Уж поразить буй-тура хочет... Вдруг стал освиренелый зверь, Ревет, о камень роги точит, С ноздрей огнистый пар летит. И пыль столбом из-под копыт. И эхо по лесу грохочет... Сразились — смерть невдалеке: Споткнулся конь — булат в руке, В груди стенанье замирает --И злобно палшего врага Подъемлет буйвол на рога И к небу яростно кидает!... Летит, летит...

XII

И новый сон Его на крылья принимает: Свои дружины видит он. Пол занавесой ночи тёмной Каких-то гор синеет высь; О стяг отечества огромной, Стоит он, грустно опершись; И, с тихой песнию прощальной, Копьем добытое добро Младые воины печально Колчаном делят серебро. И близ него, перед шатрами, Любитель браней и забав, Ликует с смелыми вождями Князь Новагорода Мстислав; Друзья Романа, как чужие, Сидят, не изменив лица, И меду чаши круговые Обносят мимо пришлеца. Но вот, с насмешливой улыбкой, Мстислав, бледнея, восстает И витязю рукою зыбкой Заздравный кубок подает.

«Пей! — молвит он, — за дружбу нашу, За неизменную любовь! За брата Всеволода вновь!» Роман взглянул в элатую чашу, В ней кровь кипит, а не вино. Вдруг гром ударил сквозь тумана В чернозлатое знамено, И с треском рухнуло оно На изумленного Романа! По холмам грянул грозный клик, Как воет бор, как плешет море, Дружины вопят: «Горе! горе!»

XIII

Роман испуганный возник, Опасность видит и сразмаха Навстречу кинулся без страха. Схватились — прочь летит топор; Плечо в плечо, нога с ногою, Как два потока вешних гор, Они сливаются борьбою.

Меж тем, покинув бегуна, Спешит Топаз на бой неравной: Уже стрела наведена, Грозя погибелью бесславной... Прочь, витязь! иль тройную сталь Она сломает, как хрусталь! Внимай! рога у лука взвыли, Ударом тетива звучит, Стрела пернатая свистит... Кому-то пасть судьбы судили?... Падет, падут, как град в грозу: Вверху Роман, Кончак внизу. Стрела на ветре изменила Неотразимой свой полёт И в грудь собрату угодила; Топаз пустился на уход. Меж тем, избавленный ошибкой. Над умирающим склонен, Внимает с мрачною улыбкой

Разбойника тяжелый стон. И в сердце жалость проникает, Он хочет павшему помочь... Напрасно! Взор его смыкает Нерассветающая ночь... Долину витязь покидает.

XIV

.

$\mathbf{x}\mathbf{v}$

Всходила туча роковая Над тихой Галича страной И закипел поток Дуная Под Переяславской стеной. Как бранный щит, в крови омытый, Запало в тень светило дня, И одичалые граниты Вдали сверкают без огня. Олень, испуган крыльев шумом, Прянул с перуновой скалы И на челе ее угрюмом Слетелись горные орлы; Бушует бор, ущелье воет И вихорь цепь Карпата роет, И гром катится вдалеке. Но вот ярящимся Дунаем, То видим, то опять скрываем, Ловец плывет на челноке. Белеет парус одинокой, Как лебединое крыло, И грустен путник ясноокой; У ног колчан, в руке весло. Но, с беззаботною улыбкой, Летучей пеной орошён, Бестрепетно во влаге зыбкой Порывом бури мчится он, И внемлет приберег окольной Напевы песни произвольной:

XVI

Песня

Покатись, попутный вал, Заиграй, мое ветрило: Я на ловле опоздал, Не увижу Лады милой.

Стонет сизая волна
На раздолии широком:
Видно, милая грустна
В пышном тереме высоком!

Воздух, бурею дыша, Носит капли дождевые: Знать, поплакала душа, Знать, журят ее родные!

Только выйди на лужок Мыться утренней росою; Упаду, как голубок, Перед девицей-красою!

Улетит любви гроза С неба радостных свиданий, И с ланит сойдет слеза От пленительных лобзаний!

Счастья выглянет цветок... Вал, играй, лети, челнок!

XVII

Безумный! Черпает ладья. Пловец! Руби свое ветрило: Пусть колыбель тебе — ладья, Но бездна может быть могилой. Скорей!.. Уж поздно — заплескал Над челном белогривый вал... Прости, веселие столицы, Любовь родных, друзей мечты

И Лады светлые зеницы! Еще простите!.. Гибнешь ты! В тумане город, брег далеко.

Летит ездок во весь опор. Достигнув берега Дуная, Презрев утесистую круть, Коня уздою понуждая, Он скачет в глубину прянуть. Вотще! уперся конь ретивой, Храпит, крутится на дыбы, Но дерзок витязь — несчастливой Не миновать ему судьбы; Ездок все силы напрягает, Стремит — и, снова поскакав, С утеса падает стремглав И шумно в брызгах исчезает.

XVIII

Где-где, потоком унесен, Возник он, бронею сверкая, И вдаль плывет на тихий стон, Со шлема влагу отрясая; Перун окрестность озарил, Он там, он юношу схватил И вспять! Под ношею двойною Погрузнув, добрый конь хрипит, Валы ревут над головою, Вода в ушах его журчит; Над ним летают смертны тени, -Не ведал витязь удалой, Тебя стремя в пылу сражений Неотразимою стрелой, Не мнил, чтоб влажная могила Твой быстрый бег укоротила. Спасайся, витязь! Нет коня, Грузна кольчатая броня. Покинь ловца на божью волю, Тебе с ним к брегу не доплыть!.. Но нет! Ты хочешь разделить, А не оплакать злую долю.

Обняв утопшего, пловец Гребет в усилии усталом; И, тяготея, как свинец, По нем катится вал за валом: Уж пепенеющая грудь Елва взрывает пенный путь: Напрасно дланью бесполезной Раздвинуть хочет он волну, Он поглощаем алчной бездной, Готов погрузнуть в глубину; Но берег близко... В лоне тучи Проторгся молнии поток, И мутный вал, как змей шипучий, Изверг обоих на песок: Там, полумертвы, утомленны, Лежат спаситель и спасенный.

XIX

Но вот по берегу спешит Боярин, где-то запоздалый, Его заботлив грозный вид, Белеет пеной конь усталый, И, шапку приподняв рукой, С ним рядом скачет стремянной, В лицо им, градом поражая, Вихрь опашни сдувает с плеч, Но всадники, не замечая, Между собою держат речь:

Боярин

Благодарю за добры вести, Наш заговор идет на лад: Что Любомир свершит из мести, Оллай за деньги сделать рад. Но что поет медлитель вечный На это Ян, племянник мой?

Стремянной

Он шлет к тебе поклон сердечный И тайной подвиг роковой Желал бы разделить с тобой...

Боярин

Да не желает? Всё возможно Тому, кто дерзостен не ложно.

Стремянной

Что будто ратники его Далеко разбрелись по краю; Что он на князя своего И сам бы прямо по Дунаю К тебе душою прилетел...

Боярин

Слова без дел, что лук без стрел! Не души, а мечи нам нужны. Ничтожный трус! Но почему Ты не открыл союз окружный В словах заманчивых ему? Наш круг велик, друзья надёжны, К нам шайки половцев идут. И польские паны вельможны Охотно руку подают. И ждет блестящая награда Бояр — сторонников Всевлада: Он сам с полками киевлян Обляжет город, как туман; Андрей падет, получит снова Сан тысяцкого Любомир; И власть друзьям моим готова, И шумный пир на целый мир.

Стремянной

Я говорил ему всё это; Но сердце, замкнутое льдом, Надеждою не разогрето. Советует, любя твой дом...

Боярин

Не дом мой, клеть свою он любит; Но я советов не люблю; Пусть только Всеволод затрубит, Племянничка повеселю; Кто не подаст мне длани братней, Не уцелеет в голубятне! Я — враг приятелям таким!

XX

Стремянной

Всего сильней его пугает, Что князь гражданами любим.

Боярин

Трус и во сне беду встречает! Зачем таким людям дано Копье, а не веретено? Ужель не ведает причины Моих надежд племянник мой? Скучают смелые дружины Миролюбивостью княжой. Им нет бывалого раздолья От поселян и от наполья; В беде их не любовь страшна; Любовь народа не сильна: Народ на воздух речи тратит, Но вечно стерпит, всё заплатит, Надеждой перемены сыт. Но Ян пугливее синицы, Когда военной славы щит Сменял на блюдо чечевины! Нет проку смелому в родне, И коловратная судьбина. Как-будто насмехаясь, мне Такого ж даровала сына: Он любит жить по-старине, О девах петь, звучать струною, А не наездной тетивою; Ему чужая месть моя, — Он князя любит, князем дышит, Ему он вторит, им он слышит! От сына утаился я. Он на коне узнать успеет, Когда гроза вполне созрест;

Она ж близка, ее зову К себе в мечтах и наяву. Внимай! Чуть месяц златорогой Потонет в небе голубом, Непроторенною дорогой. Где стременем, где колесом, Ты оскачи друзей кругом, Скажи им вестовое слово: «Мечом померяться пора: В Переяславле все готово На праздник Павла и Петра!» Тогда с рассеянной дружиной Пускай они со всех сторон На пир стекутся имянинной Младому князю на поклон. И в сердце радостного града, В кругу пирующих гостей Сверкнет булат — гроза вождей, С неждавным кликом: «за Всевлада!». И кровь, и пламя, и набат Паденье князя возвестят!

XXI

Утихло. Мутные потоки Шумят, промоины браздя; Благоухая, лес далекий Слезится каплями дождя. Лилеи в красоте обновки И скромные не тронь меня Подъемлют свежие головки. Вдруг путник осадил коня... «То не мечта ль воображенья, Или очей моих обман? Передо мной, как привиденья, Две тени сквозь ночной туман Текут неверною стопою... Один в броне; к его плечу Другой поникнул головою! Я с ними сведаться хочу Иль по кресту, иль по мечу!» Домчалися тропой знакомой.

Им в очи Любомир глядит...
И кто же витязем ведомый?
То сын его, то — Световид!
Но прежде пышные ланиты
Завесой бледности покрыты
И с золотых его кудрей
Вода сбегает, как ручей!

XXII

Как сына милого утешно, Как нежно в радости своей Лобзает Любомир поспешной. И. вдруг чувствительность сокрыв. Чело в суровость облекает; Любви отеческой порыв На кроткий выговор меняет; Но льются плавною рекой Спасителю благодаренья. Склонился воин молодой На искренние предложенья И весело они втроём Спешат в гостеприимный дом. Сверкают им сквозь сумрак парной Церквей злаченые кресты, И озаряет луч янтарной Переяславля высоты. И вот стена его за ними. Внимая лаю чутких псов, Они проулками пустыми Текут посереди садов. Уже вблизи на дом красивой Лучина яркой свет лиет И у решетчатых ворот Мать нежная нетерпеливо Избавленного сына ждет — И вот на грудь свою прияла Надежду, свет ее очей, И, восхищенная, взрыдала, Забыв приветствовать гостей. И над покорною главою, Отрадной, сладостной рекою

Струи чистейших слез текли...
О, радости невинной слёзы!
Вы — перлы на земной пыли,
Венок росы на почках розы,
Поминка неба на земли
С тех пор, как ангельская сила
Звездой падучей с высоты
На землю юную сходила
По зову тленной красоты!

XXIII

Они ступенями резными Идут на красное крыльцо: Приветом брякнуло кольно. И набожно перед святыми Творят поклоны пришледы. Блестя каменьями цветными, По образам горят венцы Среброчеканного оклада; И бледным теплится лучом Неугасимая лампада. Как месяц на небе ночном. Вкруг стен широкие беседы Хрущатой обвиты камкой И по коврам висят грядой Доспехи ловли и победы, Уборы дикой красоты: Мечи, багряные шиты И самострелы, и колчаны; Там блещет боевой топор, Там шестоперы и чеканы, Там витязя дивит узор По шлему золотой насечки, То многоценные уздечки, То сбруи жемчугом набор.

XXIV

Меж тем, для гостя дорогова, Храня обычай старины, Уж баня пышная готова; Ковры стезей разостланы... И распахнулась дверь тесова. Уже, приветливо журча, В дыму, алмазами сверкая, В чан кипарисной два ключа Падут, и жар, и хлад сливая. На каменку шипучий мед Волной обильною течет. И дышит с камней млечной тучей Пар, благовонный и летучий, Венцом объемля огонек. И вот, увлаженный парами, На негу томную полок Манит душистыми травами; Березы, ветви сладкий зной, Как опахалом, навевают, Все члены, льстимые рукой, В благоуханной пене тают. Он сходит вниз, отнем горя: Из чаши бронзовой отрадно Течет на грудь богатыря Река воды струею хладной, И путник свеж выходит вон, Как месяц, морем возрожден.

XXV

Опять он в горнице красивой; Ему лилейною рукой Сенная девушка стыдливо Подносит гребень золотой. За ней идет хозяйка дома В жемчужной кике, в ферезях, В лице ее видна истома, Но доброта в ее очах, Любовь ко сыну, к мужу страх Смиренно кланяясь, подходит К Роману с чарою вина, Откушать просит и заводит Слова приветные она: «Поведай, волей иль неволей, Иль молодецкою охотой, Иль буйным ветром занесен В Переяславль с каких сторон? Кто ангел твой? Кто твой родитель? Да знаем госта величать, Да возмоту тебя, воитель, В своих молитвах поминать!» Роман ответствует ретиво: «Прости, боярыня, меня, Что отложу ответ правдивой О том до будущего дня. Сказать, кто я — теперь не смею, Лгать не могу и не умею!»

XXVI

Склонив к супруге мрачный взор, Боярин входит в разговор: «Храни — о витязь! — имя тайно: Какое дело ведать мне. С намереньем или случайно Ты стал на нашей стороне; Мой гость — мой брат; ему обида — Обида мне; но ты один, Младой хранитель Световида. Здесь полномочной властелин. Под тенью крова Любомира, Как под щитом своих дружин, Ты невредим от злобы мира, Хотя бы, гневом распалясь, Тебя преследовал сам князь. Дай руку мне, приятель новой; Вот хлеб и соль, чем бог послал». Богато убран стол дубовой, И брызжет дедовский бокал. Уж беззаветными речами Сердца отверсты; мед кипит, И неразлучными друзьями Встают Роман и Световид. И гостю на медвежьей коже Походное готовят ложе. Но между тем певец младой За гусли звонкие садится,

И звук под легкою рукой За перекатами струится Звучней, звучней, и с ними в лад Стихи небрежные звучат.

XXVII

«Успокойся, путник юный, Ты разбит и утомлен; На тебя элатые струны Назвенят глубокий сон.

И, приникнув к изголовью, Сновидений красота Обоймет тебя с любовью Тихокрылая мечта.

Чаровница за собою Уманит и уведет: Ступишь легкою стопою На ковер на самолет.

И заветною долиной Вдаль за тридевять земель С быстротою соколиной Упорхнет душа отсель.

Вкусит витязь черноокой На брегу родимых струй От красавицы жестокой Полуданный поцелуй!

Иль, внося победу в сечу, Выторгнет твоя рука Знамя, гибели предтечу, Из железното полка!»

Звон гуслей тихо замирает, Как будто летний ветерок, Плененный розою, вздыхает; Как будто ропотный поток Брега жемчужные лобзает. Задернут полог кружевной

Гостеприимною рукой.
Как льется мгла росою ночи
На жаждущий от эноя мак,
Дремота канула на очи
Усталого пришельца. Так
Он, светлой совестью хранимый,
Вкушает сон невозмутимый.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Бывало, чуть ранней зарею востока Зарумянится вод переливный хрусталь И сокрытый в лозах над струями потока Соловей огласит поднебесную даль, С соколом на руке молодые бояра Иль со сворой борзых, при златом стремене. В ловитве носилися, полные жара, По долам, по горам, на могучем коне. В палаты княжие сквозь занавес алой Чуть яркое солнце казало лицо, Восстав ото сна, князь удельный, бывало, С дружиною гридней ступал на крыльцо; Там правду творя виноватым, невинным, Он в совете бояр и начало — вождей Судил и рядил по законам старинным, Допуская народ до пресветлых очей.

OXOTA

I

Блажен стократ, на чьи зеницы Дыханье милой сводит сон; Блажен, кто в сумраке денницы Приветом друга пробужден!

Световид

Восстань, Роман, от ложа неги, На утро свежее взгляни!

Твои стрельны, твои кони Пришли на новые ночлеги И жаждут зреть тебя они. Сияет солнце; манят в поле Волнистых озимей бразды; Давно уж песню милой воле Поют веселые дрозды: Лавно малиновка и чечет Росой медвяной напились; Летунья-ласточка щебечет, Вкруг башен рея вверх и вниз: Взлетает жавронок игривый За облака под небосвод И, новым блеском дня счастливый, Ловцам заутреню поет. Но, милый странник мой, готов ли Делить со мной потеху ловли?

H

Роман

Нет, нет, пленительный ловец Любовных, дружеских сердец! Не в темный лес, а к князь Андрею Веди посланником меня. В речах судьбу князей храня, В сей день я мир рукой моею Скрепить иль разорвать имею.

И вот на пламенном коне, Блистая в злате, как в огне, Он едет в шитой однорядке. За ним стрелков охранный строй, Развитый лентою цветной, Летит в торжественном порядке. Романа за город ведут, На поле мести, в божий суд. Но случай, палица и сила Сраженье совести решила. И возвращается Андрей В толпе, над радостным Дунаем, Один, любовью охраняем, Без лат и копей, и мечей. Не в блеске праздничного хода, Не в шуме дворской суеты, Но, как отца в семье народа У врат суда и правоты, Посол встречает князь Андрея. И где, скажите, видел взор Земных царей дворец иль двор Сего достойней и пышнее? Пред князем на землю ступив, Трикраты голову склонив, Так говорил боярин смелой:

III

Князь! Всеволод, Олега сын, Великий князь и властелин, И обладатель Руси целой, Тебе, как брат, любовно шлет В моем поклоне свой привет! Он кочет знать, зачем с Дуная Лишь ты один до сей поры, Обычай предков презирая, К нему забыл послать дары? Но, заключа добро в булате, Мой князь не думает о злате, Лишь гневен он, что ты один К нему не выставил дружин.

Князь Андрей

Боярин! Если б на престоле Признал я князя твоего, Я б и тогда княжил по воле, А не по прихоти его. Но я ли робко и постыдно, Забыв родных удел обидной, Его признаю над собой, Когда без повода, без права, За Ярополком Вячеслава С престола свергнул он долой? Но я ли стану, лицемеря,

Душой играя, целовать Союза крест, в союз не веря? Того ль мне братом называть, Кто Ярополка потаенно Закинул в плен иноплеменной?

ıv

Роман

Нет, нет, Всевладовой души Презренные обманы чужды! Бессильный крадется в тиши, Могучим нет в коварстве нужды. Твой брат, молвою ослеплен, Полякам сам отдался в плен.

Князь Андрей

Я верю, я желаю верить, Что в этом он не виноват; Но позабыть или измерить Я не могу, хотя бы рад, Позор моей обиды кровной... Мои ли братья, в наши дни, Иль он зажег вражды огни?

Роман

Соперники невинны ровно, Хоть розно счастливы они: Всевлад воздвиг свои знамена, Как сын старейшего колена, Он общим гласом киевлян Главою русичей избран. И не всегда ль решает снова Права князей судьбина сечь, И не везде ль венца княжова И предок, и наследник — меч?

Князь Андрей

Пускай же будут в деле этом Твои слова моим ответом:

Когда булат — ему судья, Когда ему хищенье — слава, То я могу и должен я Стоять за честь родного права.

Роман

Давно ль поставили князья Превыше долга связи рода? Для них ли русский воевода Отринет славную войну За наших праотцев страну?

\mathbf{v}

Князь Андрей

Посол! Души своей цену Заплатим мы за кровь народа! Лля ней не только славу, месть Забыл я хишнику нанесть. И знай, что за стенами града На бой готов, но, мир любя, Я не восстану на Всевлада, Ни за него, ни для себя; Пленен забавою жестокой. Не поведу я в край далёкой Красу дунайских ратных сил Искать безвременных могил; Не заслужу и укоризны, Когда в пылу замыслит он Завоевание отчизны, Чужою силой облечён.

Роман

Питая мужество, напрасно
Он дышит мыслию прекрасной
Заверить русской стороне
Покой оружием извне!
Вэгляни, в кичении досуга,
Теперь удельные князья

Воюют братние края, Куют крамолы друг на друга, Врагов скликая вновь и вновь, Как черных воронов на кровь! Дни поселян миролюбивых В войнах князей сокращены; Пылают кровы сёл красивых: По жатвам бродят табуны; Ловольство гибнет, вянут силы, Растут не грады, а могилы И близки — в шуме вечных ссор — Отчизны гибель и позор! Чтоб удалить сии напасти, Князей смирить и умирить, Он хочет Русь соединить Под крыльями верховной власти.

VΙ

Князь Андрей

Видал ли ты, как черный дым За чистым пламенем крутится? Так властолюбие таится Под сим намереньем святым. Конечно, если б муж великий, Заслугой — родины отец, Возник над Русью полудикой... Тогда мой княжеский венец Я первый бы, как сын покорной, К его стопам сложил бесспорно. Но чем, скажи, твой новый князь, Успехом дерзости гордясь, Привлек народное вниманье?.. Или за слезы и за кровь И прав священнейших попранье Даются вера и любовь?.. Но, расточая лести соты, Меня ль он уловить хотел В давно знакомые тенёты Блестящих слов и черных дел!

Роман

Не послан я с тобой судиться; Не мне решать, тебе решиться: В последние тебя вову Признать Всевлада за главу.

Князь Андрей

В последний раз я отвечаю: Не признаю и не признаю! Переяславцам не война, А дружба Киева страшна!

Роман

...Все так, но что же будет, Когда мой князь к тебе прибудет Конями выпоить Дунай...

Князь Андрей

За правду бог! Не угрожай!.. Наутро в мой дворец прибрежный Я созову бояр в совет— Скрепить, вручить тебе ответ...

VII

И вот ведут коня лихого
Ясельничие под уздцы.
Вдыхая ветр, он бурей пышет,
Он под собой земли не слышит!
«Стой, птичка, стой!» Недвижим конь;
Узду грызет, ушми играет,
Как будто — всаднику внимает,
В глазах покорности огонь,
И князь, трепля по стройной вые,

Берет поводья золотые, Садится медленно в седло. Конюший оправляет стремя, Младой сокольник в то же время С поклоном сокола дает, И поезд двинулся вперед. Красуясь гордыми конями. Лворяне мерною стопой Съезжают в улицу рядами, Гремя по звонкой мостовой При ветерке попоны веют, Одежды радугой пестреют, Мелькает гридней шумный рой. Спешат довольные граждане, В толпе прелестных дев и жен, У князя доброго заране Почетный выманить поклон: И старцы, духом молодые, С слезами радостных очей Подъемлют на руки детей Полюбоваться на Андрея! Казалось, окна говорят, Одушевленные народом, И, голубым колебля сводом, Благословения летят, И вторит кликам клик ответной. Стеной зубчатой отразясь: «Да вечно здравствует наш князь!» И в обе стороны приветно Андрей с улыбкою чела Склоняется к луке седла, И. опеняя удила, Ретивый конь, взвевая гривой, Меняет ход нетерпеливой. И всех перевышал Андрей Красою, крепостию тела; К нему и жен любовь летела, И упование мужей. Так манит взор в венце зеленом Веселие точащий грозд; Так величаво небосклоном Восходит месяц в хоре звезд.

VIII

Внимая сердцем глас народный, С улыбкой скромной добрый князь И с откровенностью свободной К Роману молвил, обратясь: «Хвала народа — мне услада; И мне ль, Роман, страшиться вол? Ему опора — мой престол, А мне любовь его — ограда! Она всех дел моих печать; Она умеет услаждать Мои заботы и досуги».

Роман

Прости мне смелость; шумный стан Меня взлелеял к правде пылкой;

И у меня князьям привет Низать, как жемчуг, дара нет. Нередко этот шум и клики Являют странника уму Дань облачению владыки, А не порыв любви к нему!

IX

Андрей

Льстецы, как трутней жадный рой. Из самолюбия, из страха, Из горсти золотого праха, Пред князем ползают душой, Его порочнейшие ковы Хвалить и совершать готовы. Их лесть я оценил. Мой двор По воле и неволе знает, Что низость князя унижает, Что без заслуг хвала — укор, И, веришь ли, порой досуга, Забыв придворных суету, Я вырываюсь за черту Их очарованного круга; И чувств народных простоту То вызываю, то внимаю.

.

x

Знак подан; быстрая охота, Полет готовя соколам, Рассыпана по берегам Вблизи дремучего болота; И взоры всех, и мысли там, И всё молчит. Вот пес следничий, Гонитель злой пернатой дичи, В поток бросается стремглав; По тростникам перебираясь, То перескоками, то вплавь, Идет, на ловчих озираясь. Но, лов послыша издали, Угрюмых тундр жилец пустынный Взлетела цапля от земли, Назад простерши ноги длинны. Свисток! — и с путою златой

Спадают шапочки долой. Поражены лучом денницы, Расширив ясные зрачки И отрясаясь, хищны птицы Не вдруг кидаются с руки. И первый сокол князь Андрея. Добычь узрев издалека. Стрелой взвился под облака. Свистящими крылами рея, Все вверх и вверх, и, наконец, Ударил в цаплю, как свинец. Но скорость силы бесполезной Встречает клев ее железной, И с облаков на тихий дол. Произенный, падает сокол. От Любомира всходит мститель В воздушную громов обитель, Смелей, быстрее мысли он: Несется, плавает кругами, Стоит... упал... взмахнул крылами, Бьет снизу вверх — и бой решен! Роняет цапля кровь и стон И тихо пред толпою праздной Падет чертой винтообразной. Боярин гордый соколу Похвальные внимает клики, И восхищенья пламень дикий Играет по его челу, И князю о паденьи скором Он предвещает грозным взором, Как будто птиц гадальный бой — Венец победы роковой.

XI

Не мне представить цепью длинной В живой картине пышных слов Удачи ловли соколиной И удальство младых ловцов, И в дебри дальной и пустынной Под ясенями древних лет Княжой охотничий обед!

Как ум гостей, вино сверкало И, словно радость, утекало, И вечерел незримо день; Хладея, солнце развивало В долинах роскошную тень. В обратный путь охота снова На травлю псовую готова.

Роман и юный Световил С какой-то негою невольной. Сдержав коней страны подольной, Прелестный созерцали вид: Все тихой радостью дышало. Улыбкой небо расцветало И всюду тишина была; Лишь запоздалая пчела Свое жужжанье над цветами Сливала с дальними звонками; Березы, свившись в хоровод, Поляну купами обстали И горлицы, под ропот вод, В тени дубравной ворковали, Напоминая сердцу вновь Покой, и дружбу, и любовь.

XII

Роман

Питомец звучных песнопений! Не по мечу, по сердцу брат! Я не дивлюсь, что томный взгляд Очей твоих являет тени Блестящих мыслей и видений! Кого не вспламенит обзор Твоих величественных гор!

Световид

Так, милый друг, от колыбели Нагорный звук пленял меня Пастушьей утренней свирели!

И, чудом отрока маня. Мне повести и песни пели О былинах минувших дней, О подвигах богатырей. И я любил во тьме гаданья Старинных доблестей черты, Невероятные преданья, Неисполнимые мечты! И сладостны, и светлы были Мои в дыхании весны Очаровательные сны! Они в тот край меня носили. Где спеет яблок золотой. Где вьются райские жар-птицы И дом русалки молодой, В волнах растопленной денницы, Слиян из граней хрусталя; Цветут рубинами поля. Овны блуждают златорунны И неземные дышат струны, -Все это видя и внемля, В восторге песней бредил я!

XIII

Я возрастал; мои мечтанья Росли невидимо со мной. Мои любимые гулянья, Бывали там, где мрак лесной, Где гребень гор возник порогом Пред небожителей чертогом, Куда носилася душа, Священным воздухом дыша! Одолеваем сладкой ленью, В груди задумчивость тая, Вод сладкозвучному паденью Любил прислушиваться я; Любил сливать напев отзывной С стенаньем бури заунывной, С веселой дробью соловья. Тогда-то к смелым песнопеньям В груди моей затлелся жар,



А. А. Бестужев. С акварели неизвестного художника 1824 г., принадлежавшей Е. А. Бестужевой. Акварель хранится в Пушкинском доме Академии Наук СССР.

Тогда-то развился мой дар, Мысль окрилять воображеньем, Лавать живой язык страстям. Сливая в думы голос тайной, Знакомый пламенным сердцам. Который тихо и случайно Из лона жизни, из могил Певцу понятно говорил. Восторгом сердце трепетало. Как ветром сорванный листок, И думы пламенной поток Ладами стройно изливало! И эхо резвое внимало Мою восторженную грусть И, повторяя наизусть, Скалам от скал передавало. Но песни юности моей. Моей задумчивой свирели. Незнаемы умам людей, Как стаи вольных лебедей. Звуча, в поднебесье летели, Или досель кипят оне В моей сердечной глубине!

XIV

Роман

Итак, пословицы известной Молва правдива, что певец, Хотя правдивый и прелестный, Но, тем не мене, верно, лжец — И Световида ли напевы Внушая, не внимали девы! Да, скромный друг, казалось мне, Заметил я в одном окне Красой и статью царь-девицу: Зачем краснеть?.. Заметил я, При первом взоре на тебя, В ее глазах любви зарницу, И вдруг в твоих слиялся он, Какой-то негой упоён!

И лишь порою, для отводу, Скользил небрежно по народу. И то не скрылось от меня, Когда, румянцем пламенея, Ты в гордый скок пустил коня. Забыв друзей и князь Андрея. Но ей в поклон едва-едва Твоя склонилась голова, Чтоб глаз не свесть ни на мгновенье С ее стыдливой красоты!.. Иль друга обмануло эренье, Иль обольстить желаешь ты!..

$\mathbf{x}\mathbf{v}$

Любовник опытный беспечно Внимает с холодом очей Намек о склонности своей, Хоть рад внимать о милой вечно И вечно говорить о ней; Но страсти в пламенные лета Не знают скромности завета: Притом в очах была видна Столь привлекательно ясна Романа искренность младая, Не прежней дружбы цепь святая, А новой чистая вина... И Световид, любовью тая, Пред гостем сердце пролиял, Как переполненный фиал. Он описал прелестной Лады Очаровательные взгляды И поступь — к венчику цветка Прикосновенье ветерка, И стройный стан, как юный колос, И сердцу небом звучный голос, Чело — души прекрасной тень, И душу, светлую, как день; Он описал любви томленья, Тоску разлук и негу встреч, И взоров пламенную речь, Взаимной страсти откровенья.

XVI

Но — ах! — земные наслажденья Рок не дает, а продает: Отец невесты Беловод. По воле князя — гласу мира — Сменил во власти Любомира, И рай утратил Световил Лля мести суетных обид. «Но пусть, — сказал он, — гнева сила Лесницы наши разлучила, Без обручального кольца Неразлучаемы сердца! И я любовью Лады нежной Благополучен безнадежной. Хотя б судьбой мне суждено Воспоминание одно! Каким огнем душа пылала, Когда, склонясь к груди моей, «Люблю тебя!» — она шептала, И свет бежал моих очей! Когда медлительно и страстно С коральных девственных устен Я пил дыхание прекрасной, Немым восторгом упоен! О. мой Роман! Я был блажен!.. В былом и небо уж не властно!!

XVII

Роман

Так! Воля самая небес Не усладит минувших слез, И злой кручины покрывала Не свеять негою с лица! Денница лет меня застала На гробе милого отца! И не любовью, но печалью, Облечена военной сталью,

Впервые билась грудь моя; Она от юности предела Отчизны ранами болела. И рано свет изведал я. Меж тем, за правду, за отвагу В бою, в походе ратных сил Я с первых лет княжому стягу, Княжому сердцу близок был, И, наконец, под шумом лова В полях Чернигова родного Мне душу Всеволод открыл: Он мне сказал: «Я Русь святую Люблю, как ты, как ты, ревную! Мечтой минули времена Владимира и Святослава, Когда возникла наша слава, Неразделимостью грозна. Но власть князей великих ныне — Глас вопиющего в пустыне! И древний меч, противным страх, Дрожит в бездоблестных руках. Вождей совета и победы Не вижу, не предвижу я: Окрест - могучие соседы, Внутри — ничтожные князья! Но мне ль заране править тризну За пол-умершую отчизну, Когда, презрев молву и страх, На благо силой пламенею, Когла сподвижников имею В моих бестрепетных друзьях? Так, мы пойдем! Борьба настанет -И Всеволод отважно грянет Копьем в *златые* ворота И, как рассеянные стрелы, Соединит князей уделы Под сенью твердого щита! Пускай мгновенною грозою, Пугая Русь, я пролечу, Но, как гроза, ее омою, И миру мир произращу!»

XVIII

Я внял, навстречу светлой цели Мои належды полетели. Я знал, что в недре этих дум Возможность верная таится, И смелый дух на все решится, И все решит способный ум. Тогда на слово и на дело Я дал обет Всевладу смело И острый меч и юный век На службу родины обрек. О милый друг! Мне тяжко было Сказать навечное «прости» Всему, что сладостно и мило. Что упованью рай сулило... Ах! Дважды сердцу не цвести! Любови молненная сила. Воспламенив, его разбила! Я мог ли милой посвятить Отчизне отданную руку, Иль на печаль и на разлуку Чужую младость осудить? О! как мучительно с укором Приветы нежные внимать И беззаботно-хладным взором Слезу любви оледенять, Когда кипит душа младая, Пожар страстей утаевая!!! Терзаем завистию злой. Я ночи млел на жарком ложе, И утро восходило тоже С неразделенною тоской.

XIX

Но, наконец, страдалец вольный, Я сам себя преодолел И на призыв трубы напольной С отважным князем полетел, И павший Киев — наш удел!

В те дни, влеком побед приливом И пеной славы орошен, Я мнил, о родине мой сон Сбывался в подвиге счастливом. «Все можно в деле справедливом!» --Был победителя закон. Но признаюсь, о том сомненье Лишь только здесь Андрея глас Во мне посеял в первый раз: Уже ль в огромности спасенье? Беду ль бедами излечать? Права ль неправдой водворять? И для чего мне князь великий Вчерне Андрея описал, Когда ему несутся клики Благодарений и похвал?... Уже ль?.. Но нет, молвой боярства, Не местью князь мой увлечен! От юных лет не ведал он Властолюбивого коварства!»

$\mathbf{X}\mathbf{X}$

Световил

Ты сомневаешься, и вот Неправой службы горький плод! Конечно, ратникам знамёна Не по избранию даны, Но это все — не оборона От тайной с совестью войны! И я, душой благоговея, Творца миров благодарю, Что он возвел мою зарю Под кроткой властию Андрея! И за него я кровь пролью, Утешной верою спокойный: «Я правде был слуга достойный, Я пал за родину мою!» Но где ж охота удалая?... Внемли, Роман! На первый гон

Раздался доезжачих звон, И, с дальним лаем лай сливая. На след напала гончих стая И в хор согласный залилась. Наверно, там закинул князь! По волку гонят; я внимаю: И «береги» и «улюлю». Ловцам отрадный шум охоты Катится в глубь кремнистых гор; Гудя на радостные ноты, Скалы заводят звучный спор, И затихают постепенно Отзывы ловли отдаленной. Едва-едва по островам. Немея, шепчет звук усталой, И вот по холмам и долам Молчанье вечера настало!

XXI

Следя звериную войну, Спешат ловцы на вышину, Склоненную крутым отвесом Над темным тополевым лесом. И вдруг долины в глубину Влечет невольно их вниманье То крик, то жалкое стенанье... Они глядят, и в их очах Из дебри, поднятый облавой, Язвим рогатиной кровавой, Медведь ловца низринул в прах. И нет ему от них спасенья: Стремниной путь им загражден И вдаль отводит горный склон. Слова напрасного моленья В лесной теряются глуши. Нигде ни звука, ни души. Но бог везде! В полет мгновенья, Как с облаков, упал ездок, На зверя устремляя скок. Восстал дубрав властитель черный И в крови лют, в бою упорный, Коня когтями ранит в бок; Спрянул боец; врага встречает, Одеждой руку пеленает, И вдруг бестрепетную длань Вонзает в алчную гортань. Его объемлет зверь свирепый, Сдвигает мощных лап заклепы; Но крепкий мех, но ребер медь Проник булат — и пал медведь!

XXII

Друзья, нежданностью явленья Устрашены, изумлены, Развеяв хлад оцепененья, Потоком скачут с кругизны. По склону гор лесистым краем Несутся легким горностаем И, словно лебедя сыны, Переплывают быстрины. И вот узрели пред собою Неустрашимого бойца: Он влекся пеш кремней тропою В крови и бледности лица, Храня разбитого ловца В седле заботливой рукою; И в нем предстал очам друзей Великодушный князь Андрей! «Прости, о князь, мое сомненье, --Воскликнул тронутый Роман, --Я мнил, что мирное влеченье -Презренной робости внушенье; Упал с очей моих туман: Теперь, погибель презирая, Никем не видимый, один, Чего же Мономаха сын Не совершит, врагов сражая, Перед лицом своих дружин, И почему, о вождь избранной, Ты убегаешь славы бранной?»

XXIII

Князь Андрей

Что слава? Ломкая скудель, Румянец тленья листопада! Она — добыча, не награда И душ, и дел, пробивших цель! Падут владельцы величавы, И в позолоченных гробах Сиянье северное славы Не согревает хладный прах, Не придает душе покою: Века тяжелою пятою Сотрут златые письмена; Изроет плуг границ обломки, И нерадивые потомки Забудут славных имена! Скажи мне: кто такие были Вожди бестрепетных славян, Когда они с полночных стран Пределы римские громили? Не то ль мы зрим? Вблизи, вдали, Окрест великие народы, Шумя победами, текли И, как весной нагорны воды, Исчезли вдруг с лица земли! Где имя их? Где силы рьяны? Где слава жажды боевой? Лишь развевает вихрь степной Их безответные курганы! И не про всех поют баяны, Звезды возвышенной сыны, И тонут в бездне быстрины Их мимолетные творенья!

XXIV

Но пусть живые песнопенья Иль темный летописей глас Заронят в пепеле забвенья Хоть искру памяти об нас... Заплатит ли дену исканий,

Цену кровей в устах преданий Один прицев, один рассказ? И. может быть, летописатель, Таясь в глуши монастырей, Теперь на подвиги князей, Пристрастный оных наблюдатель, Наводит лесть, слагает брань, Друзей народа обесславит. Злодеев доблестью оправит И ложную накличет дань На их главы от поздних братий Рукоплесканий и проклятий. Достойно ль жаждать славы сей, Подруги смелого порока. Невольницы хотений рока, Случайной прихоти людей!! Не ей, - общественному благу Я посвятил мою отвагу, И лейтесь веки вслед векам За улетающим мгновеньем! И смерть по жизненным путям Запороши мой след забвеньем! Но если я, в годину тьмы, Хоть сердце шаткое исправил. Хотя немногие умы Любить прекрасное заставил, Когда лучом душевных сил Законы правды озарил, Когда благие увещанья Иль безупречный подвиг мой Взойдут незнаемой виной Великодушного деянья...

$\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{v}$

Я не исчез в бездонной мгле, Но сединой веков юнея, Раскинусь благом по земле, Воспламеняя и светлея! И, прокатясь ключом с горы, Под сенью славы безымянной, Столь отдаленной и желанной,

Лостигну радостной поры, Когда, познав закон природы, Заветный плод, во мгле времян, Людьми посеянных семян. Пожнут счастливые народы! Когда на землю снидут вновь Покой и братская любовь И свяжет радуга завета В один народ весь смертный род, И вера все пределы света Волной живительной сольет, Как море благости и света! В надежде сей, Роман, познай Мою сладчайшую отраду, Мою молву, мою награду, Мое бессмертие и рай!

XXVI

Умолк. Чело его сияло, На небо светлый взор летел, Как будто он сквозь покрывало Лицо грядущего узрел. И, внемля речи вдохновенной, Мечтатель, сердцем восхищенный, Дань убеждения принес Невольных, но отрадных слез.

XXVII

Меж тем, покинув поезд шумпый, И нелюдим, и одинок, Доволен тьмой, как сам порок, Съезжает Любомир злоумный; И вот спешит к нему ездок, Питомец гибельной науки, Дружинный сотник, Богуслай. Они встречаются, — внимай По ветру зыблемые звуки.

Богуслай

Ты в черный день пустился в даль; Стремянный твой — добыча зверя. Мне удалова, право, жаль: Надежных слуг важна потеря; Он переломан. Говорят, Ему не жить.

Любомпр

Я очень рад.
Когда окрепли зданья сводны,
Подпоры только в пламень годны.
Я рад, что случая полет
Завеял грязный этот след.
Ты был? ты видел?

Богуслай

Все готовы. За наше дело восстает Олай, Стемид, Гаральд суровый.

Любомир

Я знал, что к золоту липка Варягов медная рука. Людям без рода и отчизны Какие страшны укоризны? Какая низость не легка? По нас — милей властьми награда, По них — приданое Всевлада.

XXVIII

Богуслай

Так, Любомир, в его после Твоих собратий ищут взоры И заверенья, и опоры.

Любомпр

И нет стыда на их челе? Теперь оглядываться поздно. Надежда смелых— не в полке, Она в решительности грозной, В своей душе, в своей руке. Но храбрецы отваги мерной Досель не эрят, что сей Роман— Защитник пламенный и верный Младого князя киевлян.

Богуслай

Но друг ли нам?

Любомир

О, маловерный! Он должен быть, он будет им! Какой мудрец из выгод мира Не сотворит себе кумира?

Богуслай

Он на корысть неуловим.

Любомир

У всех в уме одно и то же: Крепясь, продать себя дороже. Пускай богат и молод он, Пускай не думает о власти, Но разве тихой славы звон Плохой будильник юной страсти? Когда ж и сей напрасен ков, Волшебный клич «за край отцов» Доводит этих бескорыстных До злодеяний ненавистных. Но он готов: и злато чаш Хранит дыханье прежней влати, Поклошник счастливой отваги, Любимец власти будет наш.

XXIX

Богуслай

Но для чего ж Роман доселе Не извещен о грозном деле? Нам дорог час и дорог он.

Любомпр

А мне успех всего дороже! Не первенство ли за поклон Ему отдать! Избави боже! Я знаю гордость пришлеца: Он слово подвигом оценит И в думе Всеволода сменит . Мой труд — улыбкою льстеца! Нет, друг мой, нет! Роман единой Последний и в последний час Услышит заговора глас, И будет он с своей дружиной Его красой, а не пружиной. И впереди, — так юный конь Пугается кремня ударом, Но обезумленный пожаром, Отважно прядает в огонь. Меж тем приятелям-боярам Ты возвестинь: «посол Роман За них со властию княжою». Пред вечно-зыбкою толпою Благотворителен обман. Скажи: «успех венчает дело, Он там, где начинают смедо». Нам жить, иль ползать — только день; И нет спасенья в лоне страха: За нами — гибельная плаха, Пред нами — счастия ступень! Спети!

XXX

В тумане возрастая, Домой он медленно потек. Пред ним густела тьма ночная, Как за кончиной грозный век! И пал боязни хладный иней На сердце, полное гордыней. Невольной памяти упрек Вослед ему рассеял тени Им презираемых видений:

Звучит могилою земля И кличет филин, словно совесть, И шепчет лист о казни повесть, И тяжек стон коростеля. Так озираясь и бледнея, Во мгле, как в саване, он был. Подобен трупу чародея, Когда сей выходен могил Едва почует луч холодной (В очах молвы простонародной Велением подземных сил). Покинув тихое кладбише. Стремится в мир за адской пищей, И в бледной синеве лица Недвижные мерцают очи, Как светляки во мраке ночи, И кровь — уста у мертвеца: Блуждает он, объятый мглою, Грозя окрестностям бедою...

Конец второй главы

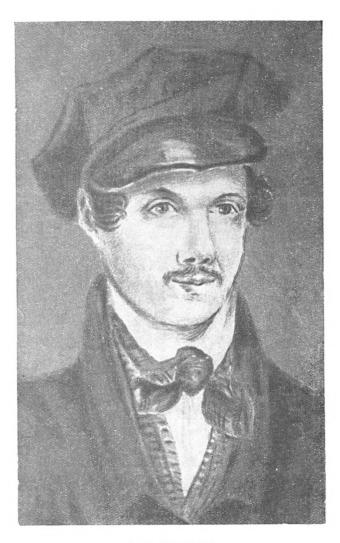
ОТРЫВОК ИЗ V ПЕСНИ ПОЭМЫ АНДРЕЙ, КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ

В святой одежде пилигрима Течет Андрей. На ложе сна, Полусокрыта, полузрима, Лежит окольная страна. И потопляет крылья стана Волна прозрачного тумана, И сквозь нее в стекле реки Едва играют огоньки, Едва белеют в беспорядке Военачальников палатки. Подобно крылиям ладей, Подобно стае лебелей. Вдали княжое знамя дремлет И кисти древка в вышине Струей незыблемой объемлет. И все окрест в глубоком сне.

Но не затихнула покоем Страстями вспененная кровь: У тех чело пылает боем, На тех улыбка и любовь. И снова ратников заносит Крыло мечтаний в пламя сеч. И снова длань хватает меч, И снова сердце славы просит. Он шел. Кругом синела степь: Вдали уснувший стан военный. И дым огней, и стражей цепь, И стражей оклик повременный, И бой копыт, и звон оков Неукротимых жеребнов. Бойницы близки: князь на воле. Но, медля в думе роковой, Он ноет тяжкою тоской. Пред ним вечерней битвы поле...

Едва луной озарены
Сверкают шлемы и кольчуги;
Тела во прахе и в крови...
Теперь узнай и назови:
Кто недруги твои, кто други?..
Мечи в их раны вонзены,
Впились в кровавые ножны;
И темный раб, и вождь избранной
Пробиты сталью троегранной,
К сырой земле пригвождены.
Коня могучего стремленье
В полете смерть перегнала,
И боя гордое храпенье
С ноздрей пироких сорвала.

Он пал. Недвижны удила Белеют пеной белоснежной, Как после бури пень прибрежной, Как вихрем сбитый виноград, Во прахе юноши лежат: Умчался жизни дух крылатый, В очах последняя слеза, Потускли ржавчиною латы,



А. А. Бестужев.

С акварели неизвестного художника начала 1830-х гг. (в пору пребывания Бестужева на Кавказе). Акварель хранится в Пушкинском доме Академии Наук СССР.

По лицам хладная роса, Но дышит гневом их краса, И затекли печатью крови Укором сдвинутые брови.

(1827—1828)

дума СВЯТОСЛАВА (Из V песни поэмы андрей, князь переяславский)

С тех пор война, завоеванье И пламень сел, и битвы кровь, Мое первейшее желанье, Моя последняя любовь! И верю я, что славы сына Не гаснет сердце и в пыли, И душу хладная кончина Не вдруг отвеет от земли: Но змеем, по ветру носимым, На нить страстей прикреплена — Над милым ей, крылом незримым Она летать обречена. Как величаво, как отрадно, Привычки славные храня, Мой смелый дух, раздолья жадной, Как взор ума, как луч огня, Помчится по полю видений. Неумолкающих сражений С громами, с вихрями слиян! Я полюблю в часы ночные Будить тревогой спящий стан, Вздувать знамена боевые, Стремить пернатую стрелу, Вдыхать трубы победы звоны, Клик боя вторить, падших стоны И славным витязям хвалу!

То скуча в мирный парус веять, Иль в облаках орла лелеять, Иль раздувать степной туман, Низгряну в кровли крупным градом,

Сорвусь с утеса водопадом, Огнистой радугой венчан... Иль над помория страною, В столбе ужасного смерча 1 Взовьюсь на Стрибога 2 войною, Крылом свистя и грохоча, Сквозь туч пия валы седые, Вторгая кедры вековые.

(1827—1828)

¹ Смерч, водяная труба: тифон.

² Русский бог ветров.

Ш

СТИХОТВОРЕНИЯ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПИСЕМ И ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

(ИЗ ПИСЬМА К С. В. САВИЦКОЙ)

...Что ж до меня, то я бы желал прихода лета — тогда, Софья Васильевна, я бондировал бы всю Ладогу балладами и идиллиями, — но теперь

Как жаль, что веют здесь Бореи,— не Зефиры, Что не цветут цветы,

И словом: вешних дней не видно красоты! А то бы, волю дав струнам пернатой лиры (в простонаречии: гусиное перо),

На крыльях юныя мечты,

Я б мог представить вас, среди полей, кусточков, Гуляющу в тени лесов,

Задумавшуюся при шуме ручейков,

При говоре листочков,
При пеньи птиц лесных;
И даже вспомнивши тираду из Моины
Вздыхающею (— для картины);
Или в душе с мечтой, с М-м Жанлис в руке,
Спешите к Волхову реке,

То с песнями по ней катаясь в челноке,
То на уде и гибкой и дрожащей,
Прельстившись чешуей блестящей,
Влечете бьющихся невинных рыб из волн,
То к старой Ладоге стремите утлый челн
И там, с высот уже осиротелых башен,

Раздробленных веков стопой,

На все окрестности бросаете взор свой. Воспоминаете, сколь Игорь в них был страшен, Как славою сей град гремел!..

А ныне? там, где меч о камень точил воитель, Где щит войну звучал, звенели тулы стрел, Смиренная стоит отшельников обитель; Плющом каменья поросли,

Упали стены и бойницы,

И кролики живут героев средь столицы. Вы мыслите: «так все проходит на земле!..»

И в гости на кадриль спешите. — Потом я мог представить Вас На берегу крутом, где Волхов волны рьяны Катит через порог, через бугры песчаны, Стрелой летя от глаз.

Я вижу мысленно: на сопке вы сидите,

На запад пламенный глядите, Любуетесь, когда среди пурпурных туч Играет, отразясь, последний солнца луч;

> Как с тверди мраки льются, Как по холмам туманы вьются.

... Вы погрузились в море дум;

Вот слышится плеск волн, дубравы тихой шум

И ветров хладных завыванье, И под курганами подземное стенанье.

По чувствам трепет пробежал,

Цепями призрак зазвучал.

О ужас! близко... Не пугайтесь...

Не бойтесь мертвецов, — с живыми забавляйтесь,

В кругу своих • Знакомых и родных.

Об ужасах лишь в снах видайте, Лишь в жмурках в мрачности блуждайте.

И стихотворному поверя не всему, Благодарите вновь зиму,

Котора в теплые вас комнаты загнавши, Вкруг игр и радости собравши,

С сестрами, братьями заставила весть дни В священной отческой сени!

А то бы силою, обильно рифм теченья,

И летнего воображенья Я, может быть, заставил вас

Парить из Ладоги — по ветру на Кавказ!

^{...} Но еще все ли я высказал? посещения, приемы, игры, танцы, катанья, гулянья и проч. и пр. зани-

мают вас, я думаю, не менее приятно во все время праздников.

Лишь к удовольствиям желания стремя, Сместесь, резвитесь, танцусте, а я?

А я скучаю по обыкновению, сижу дома по привычке и занимаюсь по охоте. Много читаю, мало пишу, и еще менее сочиняю...

... Радоваться здесь нечему.

Я не живу почти, — дышу, Скучаю сам, других смешу И, хладность дружбы Мечтами золотя, Играю цепью службы, Как милое дитя...

(ИЗ ПИСЬМА К С. В. САВНЦКОЙ)

... Прошу вас при первом сухом времени идти прогуливаться, — иначе мое желание может сделаться пустым; вот оно:

Чтоб с первым вешним ветерком Повеяла вам радостью свобода, Чтоб первым полевым цветком Украсила вас юная природа. Чтоб зелень первая играющих ветвей Склонилася над вашею главою, Чтоб первый сверкающий ручей Кристальной освежил струею И сладкой песнью соловей Вас первую пленил собою.

...Теперь в прибавку этого желаю вам, что можно желать на нашей скудной радостями земле—

Чтобы во всякое время в полях и лесах, Тихой мечтою сердце лелея,

Вы были довольны при Феба лучах И счастливы в снах, на маках Морфея.

(1 апреля 1819 г.)

(ИЗ «ПОЕЗДКИ В РЕВЕЛЬ»)

письмо первое

Ревель, 20 декабря 1820 года.

Желали вы, — я обещал, Мои взыскательные други. Чтоб я рассказам посвящал Минутных отдыхов досуги И приключения пути Вам описал, как Дюпати: Чтоб я, питомен праздной лени И пестун прихотей ее, Ловил крылатых мыслей тени Под сонное перо мое; Чтоб я былого с идеальным Разнообразные черты Воображением хрустальным Одел в блестящие цветы Поэзии, всегда игривой, Или веселости шутливой; Я обещал, друзья мои, И уверительно, и смело, Когда звездилося Ан И с кровью резвою кипело. Теперь совсем иное дело: Мечты сокрылись, былей нет, И я, грызя перо с досады, Напрасно устремляю взгляды Сквозь наблюдательный лорнет: Здесь люди — люди, свет, как свет, А на (гвардейские) петлицы (Замечено из-под руки)

Не вьют цветочные венки Парнаса милые сестрицы; Затем напутный мой рассказ Без пиитических прикрас Рука небрежная писала; Итак, друзья, начнем с начала.

Я расстался с вами не надолго, судя по времени, надолго по сердцу, и в 7 часов вечера шлагбаум Нарвской заставы прогремел далеко за мною. Кони ринулись, и звонкие колокольчики двух троек залились на Петергофской дороге. Мороз был жестокий, небо яснело, мрачились мысли мои. Один сидел я в санях и вполне чувствовал свое одиночество.

Сменив лошадей в Стрельне, мы помчались далее. Приближаясь к Кипени, я бросил взор на холмы и поля, окрест Дудергофа и Красного Села лежащие. Там каждое лето маневрируем мы и приучаемся к будущим битвам.

Бывало, там, когда природа в сне, Гремела пушка заревая, И всадник по полю, рисуясь, на коне Скакал, оружием сверкая, И вдруг стекался к строю строй, Перун послышав боевой, Пехота двигалась стенами, Смыкались латников полки И налетали казаки, И, тихо вея флюгерами, Уланов приближался рой; И луч денницы золотой Дробился на штыках граненых И на доспехах вороненых. Вот слышим: «Смирно! По местам!»

И только, друзья мои. Во фронте нет рассказов. Ученье кончилось; я, запыленный, усталый, бросаюсь с коня и уже под вечер выхожу подышать чистым воздухом на крутой скат горы, откуда все море, весь Петербург видны, как на ладони.

Там с милым Геснером ночь тихую встречал И с вечною фантазией крылатой; Прощальный свет зари, как роза, увядал, И меркнул запад полосатой.

И месяц-юноша, задумчивый, один Едва бросал лучи свои румяны; Как море, в глубине объятых сном долин Дымилися махровые туманы.

И шепчущий тростник, сверкающий ручей И небосклон, безмолвием угрюмый, — Все наводило грусть и все в душе моей Унылы воскрешало думы.

Вдруг тучи сизые, как ворона крылом, Одели свод небес; перуны запылали; А мы, нетрепетны, под трепетным шатром Шум бури смехом заглушали.

Бледнела молния перед огнем ланит Беспечных юношей; за чашей круговою Беседу, прежних битв рассказ животворит, И настоящее сменялось стариною.

Внимая подвигам наездников полка, Душа неведомым огнем воспламенялась, И взгляд врага искал, и смелая рука За рукоять меча хваталась.

письмо второе

Ревель, декабрь 1820 года.

...Брат уехал вперед; скоро и я пустился за ним же.

Ворота скрипнули за мною, И я в дорогу поскакал; Туман волнистой пеленою Кругом все поле застилал; Бледнея, утренни поляны Тонули в сумрачных зыбях, И солнце на восток румяный Вдруг вышло в пламенных лучах. Поля алмазные зажглися, Туманы в облачки слилися. Полупрозрачною грядой На свол взбежали голубой. В жемчуг осыпанными снежный Ветвями ветерок играл; От сосн и от угрюмых скал Простерлись тени перебежны. Яснело утро: я скакал И с скрипом подрези жужжали, И быстро мимо нас мелькали Леса и холмы, и поля; От взоров небеса бежали, Катилась из-под ног земля, И снег, взвеваемый конями, Летел за резвыми санями, И, будто огненным дождем, Сверкая в радуге цветистой. На след ложился серебристый.

В самом деле, какое прекрасное зрелище представляет зимой восходящее солнде, когда багряным щитом выкатывается оно над заснеженною землею!..

... Без особенных приключений добрались мы в самое Рождество Христово до последней станции к Ревелю. Уже было 7 часов вечера, как мы пустились в дорогу, и долго ехали по едва набитой тропе. Вдруг порхнул снег, сгустился, поднялась вьюга и обширная пустыня морского берега взволновалась под крылами бушующего ветра. Гранные камни, означающие путь, начали скрываться, снег ослеплял глаза, вихрь заметал дорогу; наконец, и след ее исчез.

«Не так ли, — думал я, — исчезнем и мы?»

Промчатся веки вслед векам За улетающим мгновеньем, И смерть по жизненным путям Запорошит наш след забвеньем!...

... Здешние балы не походят на столичные, откуда так часто возвращаешься с пустотою в душе, с дремотою в глазах и с пылью на платье. На них не встретишься с шумною толпою фанфаронов, которые у нас скучают паркетом и с важным видом рассказывают обветшалые пустяки; они

Довольные собою сами И тупы остротой чужой, Всех душат скукой выписной, Любезностями и духами. Кокеток не увидишь там, Разряженных не по летам, Которые состав скудельный Цветят гирляндою поддельной И, снова думая блеснуть Давно забытой красотою, Хотят под сетью кружевною Свою антическую грудь Зефиром купленным надуть; Незнаемы чувств ложных взоры, Расписанных не видно лиц, И лестью жителей столиц Там не румянят разговоры; Насмешек, пересудов нет, Незнаем философский бред, И колкость шутке неизвестна; Веселость сердца не шумна; Там и застенчивость прелестна, И прелесть самая скромна; Девин заемной мишурой Ни ум. ни платье не блистает, Но их невинность украшает Неотцветаемой красой.

В самой вещи здесь редко увидишь летучие перья, которые так удачно дамы наши избрали эмблемою своего легкомыслия, или райскую птичку на голове какойнибудь Медузы. Переходя сюда, петербургские моды теряют странность свою, и потому недостаток ее заменяют здесь вкусом...

письмо четвертое

Ревель, 3-го января 1821 года.

- ... Я встретил Новый год очень весело, а вы знаете, что душевная веселость цветет во мне столь же редко, как и цвет на алоэ. Это случилось в домашнем маскараде у генерала С—ва...
- ... Между прочими мне понравилась маска С—ни, о котором я уже вам упоминал. Он был одет почтальоном и всем коротко знакомым своим разносил письма, заключавшие в себе небольшие куплеты. Вот те, которые помню, как могу, и перевожу, как умею.

Хозяйке лома

Душа семьи и мать, достойная похвал, Ты — счастие родных, ты ближних идеал.

Одной красавице

Небесный взор очей твоих, Как в зеркале, души являет совершенство; Но одному он принесет блаженство И горе множеству других!

Девушке, которая прекрасно пела

Как в пении твоем серебристый голос нежной, Течет в твоей груди спокойство безмятежно.

Мужу, у которого жена мила, как ангел

Кто б позавидовать тебе не захотел? Богиня смертному досталася в удел.

жене его

Цветок первейших благ, как радость, неизменной, Цветет в душе твоей бесценной... ... Я был весел, потому что смотрел на всё в радужные очки юности. Этот вечер будет записан красными чернилами в календарь моей жизни; но пожалейте, други, о беспокойном духе моем, который всегда идет навстречу к неприятностям и шепчет мне среди забав: удовольствия исчезнут, как ракета, и лишь дым воспоминания ляжет на сердце.

Ах, если радости земной Сокроется очарованье И мне безвременно судьбой Таится в будущем страданье! О молодость! умчи с собой О счастии воспоминанье!..

⟨ИЗ «ДОРОЖНЫХ ЗАПИСОК НА ВОЗВРАТНОМ | ПУТИ ИЗ РЕВЕЛЯ»⟩

СТАНЦИЯ ЧИРКОВИЦЫ

9-го января 1821 г.

Взяв на нарвской станции лошадь, я отправился верхом к водопаду; скачу и через двадцать минут останавливаю коня своего:

Там, где гремучая Нарова С утеса падает крутого. Сперва она, раскинув лед, К порогам с гордостью течет: Вот ожемчуженной грядою Толпятся волны за волною В стесненный, боязливый круг. Вот близко пропасти... и вдруг, Сверкнув лучом хрустальной влаги, Вниз скачут, полные отваги, И, прядая через скалы, Играют в красоте чудесной Отливом радуги небесной, Огнями громовой стрелы; Вот в бурные слились валы И с грохотом алмазну стену,

Упав, разбрызгивают в пену. Громами падающих вод Двоит свой шум водоворот, И, берег одичалый роя, Нарова грозная шумит И снова, чуждая покоя, В затворах мельницы кипит.

Река, ниспадая, делится надвое и образует остров, на котором стоят две пильные мельницы. Голова кружится, внимая шуму волн: они стонут, разбиваясь о кремнистые утесы, стелются на них всплесками и с пеною, с ревом текут, стрелой несутся далее. Рыболовы уверяют, что под наклоненными скалами порога есть пещеры, недоступные воде. Многие смельчаки пробирались туда сквозь бой водоворота и безвредны возвращались назад.

Но посмотрите снова на водопад:

Струи, свергаясь пеленою, Как бы играют меж собою; То брызжут золотым снопом, То гнутся радугою смелой, То, вспыхнувши цветным лучом, Летят и гаснут в пене белой.

И это еще не все, друзья мои! Вспомните, что театр представляет мороз в 15°, что солнце отражается в тысячах ледяных кристаллов:

Там виден зеркалом наяд Оледенелый водопад, И цепи мхов, и плющ печальной Корой подернуты кристальной; Гроздями вылился алмаз; С прибрежных сосн, с ветвей долины Кистями зыблются рубины И блеском ослепляют глаз. И все величие картины — Покров сияющий зимы, Реки пенистые холмы,

Плеск волн, порогов содроганье, Скрип колеса, жужжанье пил Свершили чувств очарованье, И мнилось мне, что взмахом крыл, По манию волшебной трости, Я занесен к Армиде в гости Или в чертог бесплотных сил. И в пурпурны слиянный тучи, Кругом от брызгов дым летучий, И волн серебряный туман, — Все обольщенье уловляло И все в мечтателе питало Души оптический обман.

Однако, я заметил, что мое воображение, привычное только летать, а не плавать, опустило мотыльковые крылья свои и оттого, может быть, заметите вы, что и поэзия моя упала на точку замерзания.

Отдаляясь от водопада, я не уставал любоваться им. Вдруг печальное воспоминание о несчастье одного из предков моих, как тучей, набежало на довольную мысль мою.

Медленно с грустною душой удалился я от порогов, и далекий шум водопада пробуждал в памяти моей отголоски давно и недавно минувшего...

«ЗАМОК ВЕНДЕНА»

(отрывок из диевника гвардейского офицера)

Мая 23, 1821 года.

...Золоторогий месяц едва светит сквозь облако; дремлющий лес не шелохнет, и черная тень башен недвижно лежит на поверхности вод. Изредка дуновенье вспорхнувшего ветерка струит складки знамя Гермейстерского, и, ниспав, они снова объемлют древко. Одно мерное бренчанье палаша часового раздается по стенам замка. То, опершись на копье, он погружает наблюдательные взоры свои в темную даль, — то в мечтах об

оставленной родине, о далекой невесте, напевает старинную песню. Он поет:

О звуки грустные, летите К моей красавице Бригите!

Давно меня мой добрый конь Умчал дорогою чужою; Но не погас любви огонь Под тяжкой бронею стальною.

А ты, в родимой стороне, Верна иль изменила мне? В походах дальних, на пирах, Опершись в боевое стремя, Ты мне казалася в мечтах: Я вспоминал былое время.

На яве с милой и во сне; А ты грустишь ли обо мне? За честь твоих, Бригита, глаз Не первый ланец изломался, И за тебя твой шарф не раз Моею кровью орошался.

А ты, в далекой стороне, Готовишь ли награду мне? Богатый изумруд сверкал На нежной шее девы пленной, — Я для тебя его сорвал Рукой любови неизменной.

Для золота, для красоты, Уже ль мне изменила ты? Я видел смерть не вдалеке: На камнях Сирии печальной Мой конь споткнулся — и в руке Меч разлетелся, как хрустальный, Булат убийственный блистал, Но я Бригиту призывал!

А ты?..

Блудящий огонь по болоту приводит его в суеверный страх, и он, стыдясь боязни своей, закутывается в плащ, будто проникнутый холодом.—...

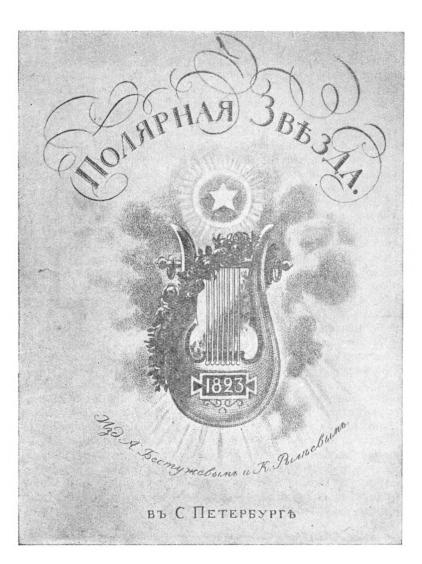
(ИЗ «ЛИСТКА ИЗ ДНЕВНИКА ГВАРДЕЙСКОГО ОФИЦЕРА»)

новая деревия, на берегу чулского озера

1821, 28 мая. В 7 часов вечера.

День вечереет. На берегу Пейпуса сижу я на разбитой молниею сосне, и ветер сдувает с волос моих крупные капли недавнего дождя. — Разорванные тучи то разлетаются по небу, то громадятся на краю небосклона, и вдалеке распадаются дождем. Пейпус бушует: волны длинными рядами катятся на берег, и ни души нет на берегу, ни лодки на озере; кругом все пусто и дико, как будто и мысль человека не залетала сюда. Но смотрите, как отрадно сверкнула мгновенная радуга между облак, нависших над мрачною бездною; — отрадно, как воспоминанье минувшего. — Но исчезла радуга...

Смотри, как буря в лоне туч С багровой молниею зреет, Как солнца одинокий луч, Прокравшись, в озере бледнеет: Как грозно, под завесой мглы, Седые плещутся валы. И вот низвергся ливень градной, И быстрый вихорь, лист полей Крутя, шумит, звучит отрадно Для жаждущей души моей. Мне ужасы природы милы: На лад стихий и бури вой, И лишь тогда, расправив крылы, По свету реет гений мой. Он любит с пламенной мечтой В тумане древности носиться, И вот она, покинув тлен, Былою жизнью оживится, И вспять течет река времен; И снова край отчизны, зрится, Богатырями населен. И озеро с природой в бое Мне кажет поле боевое. В жужжанье ветра слышу я Свист стрел, ломление копья, Булата звонкое крушенье



И ратных клик, и битвы гром, И вновь в ударе роковом Коней и всадников паденье.

О Пейпус, Пейпус! Сколько раз смывало ты с берегов своих кровь германскую и русскую! Сколько раз твои волны и льдяное покрывало твое багрились ею! Псковитяне и крестоносцы, попеременно как враги и друзья, то для мены, то для разбоя переплывали через влажную границу и нередко в зимнюю пору соступалась на озере погоня с хищниками, и бой решал распрю. Как теперь белогривые валы катятся, скачут и плешут на берег и, с ревом сшибаясь, далеко прыщут пеною, так неслись один на другого враждующие полки, сшибались и падали ряды храбрых. — Дерзость Ордена росла с его силою, его сила с изнеможением Руси. Между тем, как луна затмевала звезду славы и счастия нашего Отечества, рыцари с севера вторгались в его области, жгли поля и жилье, отгоняли стада, губили беззащитных. Но месть выкликала месть — русские не оставались в долгу и железо не уставало дымиться кровью. В 1241 году немцы завладели Псковом; герой Невский, соединясь с братом Андреем, присланным от заботливого их родителя, незабвенного Ярослава, вместе с Новогородцами, с Низовцами, ударил на них, выбил из Пскова, с уроном прогнал во-свояси, и далеко повоевал, выжег землю Орденскую. — Магистр, по прошлогоднему опыту ведая, с кем ведаться должно, поднялся со всеми Епископами, вооружил чудь и емь, подкрепился норвежцами (мурманами) и лишь тогда только двинул тяжкую силу свою на разгром легких дружин князя. — Между тем Невский не уходил, но возвращался. Послышав приближение Магистра, он обратился к нему навстречу; сошел на озеро и устроил полки, примкнув левым крылом к Узменю, близ Вороньего камня. Это было в субботу 6 апреля. С восходом солнца оба войска двинулись лицом к лицу, немцы близились быстро,

Но Александр оплотом сил Напор врага остановил. И вот железною стеною Сомкнулись вновь германцы к бою.

Ужасен длинных копий ряд, Не проразима крепость лат; Как звери лютые, их кони Закованы в литые брони. Россиян ужас обуял; В дружинах мертвое молчанье, И видно в ратных колебанье, И страх мечи зачаровал; Щиты безмольны; под рукою Неотразимая стрела, С вещуньей смерти, тетивою, Как будто страхом замерла.

Но вот пред стихшими полками. Златой кольчугою звеня, Нисходит Александр с коня. С главы слагает шлем узорной: С молитвой теплой и покорной Возводит очи к небесам. И песнь воскликнул величаву: «Не нам, о Господи! не нам, Твоему имени дай славу, Твоим глаголом победи!» Уж на коне, уж впереди, Уж Русский вождь в налете быстрем, Как вихорь, сгрянулся с магистром; И александрово копье Сквозь щит, сквозь медь пробило всё -С плеча скользичв, с петлей сорвало Шелома твердое забрало; — Вот на лице горит печать, И конь несет магистра вспять. И в полк железный наши делы Ворвались с воплями победы — И дали рыцари хребет, И плен, и кровь, и труп их след. И нет от гибели спасенья Посереди безбрежных льдов, И Александр, как ангел мшенья, Следил, разил, губил врагов...

— И вешний лед под их стопою Неровным бегом натручон, Со треском расступился он, И разом плещущей волною Врагов остаток поглощен.

Это не вымысел. В Временнике Софийском летописеп, писавший по словам самовидна, входит еще в дальнейшие подробности, может быть весьма занимательные для историка и стратегика, но которые не всегда дружатся с поэзиею. Например, он рассказывает, что немцы и чудь прошиблись сквозь полки русские большою свиниею, т. е. трехугольною колонною, известною еще грекам и римлянам и теперь оставшеюся у соседей наших, турков; что немцев били и гнали на семь верст по льду до Суболического озера, что рыцарей погибло 700, а чуди бессчетно, и что взято в плен 50 одних сановников. Торжественный въезд Александра в Псков заключил победу. Добычу, как в римских триумфах, несли воины, пленных рыцарей вели пеших при стременах. Гимны священников и восклицания благодарного народа встретили спасителей у градских ворот, радость всех была непритворна и не лесть начертала похвалу герою Александру в летописях Руси. — Битва, мною описанная, известна под именем Ледового побоища.

IV

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ А. БЕСТУЖЕВЫМ СОВМЕСТНО С РЫЛЕЕВЫМ

Царь наш немец прусский Носит мундир узкий.

Ай да царь, ай да царь Православный государь! Царствует он где же? Целый день в манеже.

Ай да царь, ай да царь Православный государь! Прижимает локти, Забирает в когти.

Ай да царь, ай да царь Православный государь! Судьи все жандармы, Школы все казармы.

Ай да царь, ай да царь Православный государь! Князь Волконский баба, Начальником штаба.

Ай да царь, ай да царь Православный государь! (1823)

> Ах, где те острова, Где растет трынь-трава, Братны!

> Где читают Pucelle, И летят под постель Святцы.

Где Бестужев драгун Не дает карачун Смыслу.

Где наш князь-чудодей Не бросает людей В Вислу.

Где с зари до зари Не играют дари В фанты.

Где Булгарин Фаддей Не боится когтей Танты.

Где Магницкий молчит, А Мордвинов кричит Вольно.

Где не думает Греч, Что его будут сечь Больно.

Где Сперанский попов Обдает, как клопов, Варом.

Где Измайлов-чудак Ходит в каждый кабак Даром,

(1824)

Ты скажи, говори, Как в России цари Правят. Ты скажи поскорей, Как в России царей Давят.

Как капралы Петра Провожали с двора Тихо.

А жена пред дворцом Разъезжала верхом Лихо.

Как курносый злодей Воцарился по ней Горе!

Но господь, русский бог Бедным людям помог Вскоре.

(1824)

Ах, тошно мне И в родной стороне; Всё в неволе, В тяжкой доле, Видно, век вековать?

Долго ль русский народ Будет рухлядью господ, И людями, Как скотами, Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабалил, Кто им барство присудил, И над нами, Бедняками, Будто с плетью посадил? По две шкуры с нас дерут; Мы посеем, они жнут; И свобода У народа Силой бар задушена.

А что силой отнято, Силой выручим мы то. И в приволье, На раздолье, Стариною заживем.

А теперь господа Грабят нас без стыда, И обманом, Их карманом Стала наша мошна.

Баре с земским судом
И с приходским попом
Нас морочат
И волочат
По дорогам да судам.

А уж правды нигде Не ищи мужик в суде, Без синюхи Судьи глухи, Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу,
Ты за всё, про всё давай!

Там же каждая душа Покривится из гроша. Заседатель, Председатель Заодно с секретарем.

Нас поборами царь Иссушил, как сухарь; То дороги, То налоги, Разорили нас вконец.

А под царским орлом Ядом потчуют с вином И народу, Лишь за воду, Велят вчетверо платить.

Уж как худо на Руси, Что и боже упаси! Всех затеев, Аракчеев, И всему тому виной.

Он царя подстрекнет, Царь указ подмахнет. Ему шутка, А нам жутко. Тошно так, что ой, ой, ой.

> А до бога высоко, До царя далеко, Да мы сами Ведь с усами, Так мотай себе на ус. (1824)

> > * * *

Уж как шел кузнец Да из кузницы. Слава! Нес кузнец Три ножа.

Слава! Первый нож На бояр, на вельмож. Слава! Второй нож На попов, на святош. Слава! А молитву сотворя, Третий нож на царя. Слава!

(1824?)

V

ПЕРЕВОД ПОЭМЫ МИРЗЫ ФАТАЛИ АХУНДОВА

на смерть пушкина

(перевод поэмы мирзы фатали ахундова)

Не предавая очей сну, сидел я в темную ночь и говорил своему сердцу: О, родник жемчужин тайны! Отчего забыл песни соловей цветника твоего? Отчего замолк попугай твоего красноречия?

Отчего сталось, что запал путь твоей поэзии? Отчего сталось, что гонец мечтаний твоих остановился?

Взгляни кругом — наступила весна, и все растения красуются юною прелестью, словно девы! Берега ручейков, бегущих по лугу, подернулись фиалками. Огнистые почки розы вспыхнули в цветниках. Степь изукрашена, как невеста: угорье, мнится, собрало все цветы в полу свою, чтобы осыпать ее ими, как драгоценными камнями.

В невозмутимом величии, в короне дветов, как дарь, возвышается дерево посреди сада, а лилия и ясмин, будто вельможи, пьют в честь его росу из чащечек тюльпана.

Луг до того ярко блещет ясминами, что от взора на него помутились очи упоенного нарцисса. Приветливый соловей несет в дар гостю листик розы.

Готово облако обрызнуть цветник дождем, а ветерок — отдать ему свое благоухание.

Сладко поют птички: красавица-зелень, прогляни изпод фаты праха!

Все живое знакомо с каким-нибудь художеством — от каждого есть приношение на торжище природы.

Одно величается красотою или пленительными взорами, другое — стенанием выражает любовь свою. Все теперь наслаждается и веселится, распростившись с печалью.

Все, кроме тебя, сердце мое. Не участник ты в общей радости и восторге; не просыпаешься ты из безмолвия.

И в глубине твоей нет ни к чему склонности, нет ни к кому любви. Далеко ты от страсти к славе и от мечты поэзии.

Разве ты не то самое сердце, что погружалось в море мыслей, на ловлю стихов, подобных жемчужинам царским, и дарило целые нити их, в украшение тысячам игривых выражений, будто красавицам?

Откуда же теперь печаль твоя? Не знаю. Для чего теперь ты стенаешь и сокрушаешься, как плакальщица похоронная?

Отвечало на это сердце: Товарищ моего одиночества, оставь меня теперь самому себе.

Если б я, наравне с красавицами луга, не ведало, что за вешним ветерком дуют вихри осенние — о, тогда я препоясало бы мечом слова стан наездника поэзии на славную битву; но мне знакомо вероломство судьбы и жестокость этой изменницы. Я предвижу конец мой.

Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна вновь летит на опасность!

Что такое гром славы, что такое хвала за доблести, как не отклики звуков внутри этого коловратного свода! Не говори мне о поэзии! Я не знаю, чем это небо награждает своих поклонников.

Разве ты, чуждый миру, не слыхал о Пушкине, о главе собора поэтов? О том Пушкине, которому стократно гремела хвала со всех концов света за его игриво текущие песнопения! О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять свою белизну, лишь бы его перо рисовало черты на лице ее!

В мечтаниях его, как в движении павлина, являлись тысячи радужных отливов словесности.

Ломоносов красотами гения украсил обитель поэзии — мечта Пушкина водворилась в ней. Державин завоевал державу поэзии, но властелином ее Пушкин был избран свыше.

Карамзин наполнил чашу вином знания— Пушкин вышил вино этой полной чаши. Разошлась слава его по Европе, как могущество царское, от Китая до Татарии.

Светлотою ума был он любимцем Севера, так как взор молодой луны драгоценен Востоку.

Такого остроумного, такого даровитого сына не рождали доселе четыре матери от семи отцов (т. е. стихии и семь небес).

С удивлением теперь внимай мне: эти родители не устыдились быть к нему жестокосерды.

Прицелились в него смертной стрелой. Исторгли корень его бытия. Черная туча, по воле их, одною градиною побила плод его жизни. Грозный ветер гибели потушил светильник его души. Как тюрьма стало мрачное его тело.

Старый садовник — свет пересек его стан безжалостною секирою, как юную ветку своего цветника.

Глава его, в которой таился клад ума, волей эмеенравного рока стала виталищем эмей. Из сердца, подобного розе, в которой пел соловей его гения, растут теперь тернии. Будто птица из гнезда, упорхнула душа его — и все, стар и млад, сдружились с горестью. Россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: Убитый элодейской рукой разбойника мира!

Итак, не спас тебя от оков колдовства этой старой волшебницы — судьбы талисман твой. Удалился ты от земных друзей своих — да будет же тебе в небе другом милосердие божие! Бахчисарайский фонтан шлет тебе, с весенним зефиром, благоухание двух роз твоих. Седовласый старец — Кавказ отвечает на песнопения твои стоном в стихах Сабухия.

<1837>



ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ

Гений красноречия и поэзии, гражданин всех стран, ровесник всех возрастов народов, не был чужд и предкам нашим. Чувства и страсти свойственны каждому; но страсть к славе в народе воинственном необходимо требует одушевляющих песней, и славяне, на берегах Дуная, Днепра и Волхова, оглашали дебри гимнами победными. До XII века, однако же, мы не находим письменных памятников русской поэзии: всё прочее сокрывается в тумане преданий и гаданий. Бытописания нашего языка еще невнятнее народных: вероятно, что варяго-россы (норманны, пришлецы скандинавские) слили воедино с родом славянским язык и племена свои и от сего-то смсшения произошел язык собственно русский; но когда и каким образом отделился он от своего родоначальника, никто определить не может. С библиею (в Х веке), написанною на болгаро-сербском наречии, славянизм наследогреков красоты, прихоти, обороты, словосложность и словосочинение эллинские. Переводчики священи последующие летописцы, люди духовного звания, желая возвыситься слогом, писали или думали писать языком церковным — и от того испестрили слаотечественными и местными выражениями формами, вовсе ему несвойственными. Между тем язык русский обживался в обществе и постепенно терял свою первобытную дикость, котя редко был письменным и никогда книжным. Владычество татар впечатлело в нем едва заметные следы, но духовные писатели XVI и XVII столетий, воспитанные в пределах Польши, немало искавили русское слово испорченными славено-польскими выражениями. От времен Петра Великого, с учеными терминами, вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий. Нынешнее состояние оного увидим мы впоследствии; теперь мысленно пробежим политические препоны, замедлявшие ход просвещения и успехи словесности в России.

Новообращенные россияне, истребляя всё, носившее на себе отпечаток язычества, нанесли первый удар древней словесности. Скоро минул для поэзии красный век Владимиров, и на его могиле возникли междоусобия: Русь не могла отдохнуть под кроткою властию Ярославов и Мономахов, ибо удельные князья непрестанно ковали крамолы друг на друга, накликали половцев, угров, черных клобуков и воевали с ними против братий своих. Разоренное отечество вековало на бранях противу домашних врагов или на страже от набегов соседних; наконец гроза разразилась над ним и гордый могол, на пепелище русской свободы, разбил странственную свою палатку.

Всё, что может истребить огонь, меч и невежество, гибло. Как враны, воцарилось племя батыево над пустынями и кладбищами. Варварство заградило страхом свет с Запада и Востока. В монастырях только и в вольном Новегороде тлелись искры просвещения; за то лишь нищета и невежество ручались за безопасность прочих. Мало по малу оправлялась Россия от бед, опершись на меч Невского и Донского; оживала в княжения Калиты и Василия (Димитриевича); но иноземное просвещение упало вместе с Новгородом и его торговлею. Йоанн Грозный призвал на Русь науки п искусства; мудрый и несчастный Годунов ревностно им покровительствовал; но ужасы междуцарствия, элодеяния самозванцев, вероломство Польши и расхищения от шведов задушили семена, посеянные его рукою. Алексей образовал искусство ратное и политическими сношениями несколько приготовил россиян к важной перемене; но до благотворного царствования Петра науки были только делом, а не системою.

Итак, подивимся ли, что хладный климат России произвел немногие цветы словесности! Пожары, войны и время истребили остальное. Небрежение русских о всем отечественном немало тому способствовало,

В летописях, до нас дошедших, первое место занимает Несторова. Они писаны хронически, слогом простым, не кудрявым, но более или менее ознаменованным славянизмом. В летописях Псковской и Новогородской встречаются места трогательные, исполненные рассуждений справедливых, а не одни случаи. В Несторовой видны искренность и здравомыслие. Русская Правда слепок с судебных законов скандинавских — и еще немногие грамоты и завещания княжеские писаны языком грубым, но кратким и сильным. Народные песни изменены преданием и едва ли древнее трехсот лет. Русский поет за трудом и на досуге, в печали и в радости, и многие песни его отличаются свежестию чувств, сердечною теплотою, нежностью оборотов; но беды отечества и туманное его небо проливают на них какое-то уныние, и вообще в них редко встречаются пылкие страсти и обилие мыслей. Возвышенные песнопения старины русской исчезли, как звук разбитой лиры; одно имя соловья Бояна оттрянуло в потомстве, но его творения канули в бездну веков, и от всей поэзии древней сохранилась для нас только одна поэма о походе Игоря, князя Северского, на половцев. Там находим мы незаимствованные красоты, иную природу, отменный круг действия. Безыменный певец вдохнул русскую боевую душу в язык юный, но и самою странностию привлекательный; он украсил его цветами мечты, вымыслом народной мифологии, разительными сравнениями и чувствами глубокими. Непреклонный, славолюбивый дух народа дышит в каждой строке. Драгоценная поэма сия, принадлежащая к XII веку, писана мерною прозою и языком, вероятно, южно-русским. Кажется, время сохранило ее, чтобы сильнее дать чувствовать потерю остального! В песне о битве Донской (XV века) нет того огня, той силы в очертании лиц, той самородной прелести, которые отличают песнь о походе Игоря. Впрочем, рассказ оной плавен и затейлив и ее должно читать наравне со всеми древностями нашего слова, дабы в них найти черты русского народа и тем дать настоящую физиогномию языку.

Одним шагом переступаем расстояние пяти столетий: новая эпоха в красноречии настает от Феофана, в стихотворстве от Кантемира. Первый (род. 1681, ум. 1736 г.), одаренный умом обширным, утонченным,

двигал политические пружины государства, сердцами слушателей и читателей. Красноречие его убедительно: он говорит чувствам и от чувства; но язык Феофана неправилен, изломан, испещрен польским и славянским. Остроумный Кантемир (род. 1708, ум. 1744 г.), котя неуспешно ввел французский, вялый силлабический размер, котя писал слогом неровным, жестким, котя дружил нас с европейскими мыслями на языке народном, еще необработанном, — но, как философ, как верный живописец нравов и обычаев века, будет жить славою в дальнем потомстве!

Подобно северному сиянию с берегов Ледовитого моря, гений Ломоносова (род. 1711, ум. 1765) озарил полночь. Он пробился сквозь препоны обстоятельств, учился и научал, собирал, отыскивал в прахе старины материалы для русского слова, созидал, творил—и целым веком двинул вперед словесность нашу. Русский язык обязан ему правилами, стихотворство и красноречие формами— тот и другие образцами. Дряхлевший слог наш оюнел под пером Ломоносова. Правда, он занял у своих учителей, немцев, какое-то единообразие в расположении и обилие в рассказе; но величие мыслей и роскошь картин искупают сии малые пятна в таланте поэта, создавшего язык лирический.

В то время, как юный Ломоносов парил лебелем, безларный Тредьяковский (р. 1703, у. 1769 г.) пресмыкался, как муравей, разгадывал механизм, приличный русскому стопосложению, и оставил в себе пример трудолюбия и безвкусия. Смехотворными стихами своими, в отрицательном смысле, он преподал важный урок последующим писателям. Сумароков, современник и соперник Ломоносова, был отцом нашего театра. Он писал во всех родах; но теперь прежние венки его вянут и облетают: неумолимое потомство отказывает ему в славе образнового писателя. В русских трагедиях подражание французским, совершенное отсутствие местности, бесхарактерность лиц, холодность страстей и сложность плана — суть всегдашние его пороки. Простота его басен, идиллий надута; веселость комедий принужденна, и вообще редкие черты чувств и красоты воображения скрыты в тяжком, терновом слоге. (Род. 1718, ум. 1777 г.) Поповский, первый после Ломоносова, писал чистою прозою. Перевод Опыта о человеке Попа заслуживает внимания. (Род. 1730, ум. 1760 г.)

Медленною стопою двигалась вперед словесность: -учреждение семинарий, московского университета (1755). кадетских корпусов (1732, 1762), призвание иноземных ученых разливали просвещение: но им занят был один только ум: воображение еще дремало. Писатели, даже самые посредственные, были редки. Критика и соперничество не очищали языка, не придавали ему блеску и живости. С Петра III слог деловой стал очищаться от латинской примеси. Наконец настало золотое время для словесности и ученых. Великая Екатерина II словом и делом ободряла просвещение: размножила училища, основала академию российскую (1783) и тем же пером, коим решала судьбы государств, писала русские стихи, собственным примером вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатерины для просвещения отечества неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством. Лирик Петров исполнен ярких мыслей, пламенных, смелых оборотов, быстро набросанных картин; но у него поэзия мыслей, а не стихов. Язык его разрывчат, шероховат и не всегда справедлив. (Род. 1736, ум. 1799). Херасков, стихотворец эпический, по своему времени писал плавными стихами, хотя кудряво и пространно. Многие отрывки из поэм Владимира и Россияды картинны, великолепны, изобилуют местностями; из Искателей счастия обрисованы с приятным разнообразием. Никто из русских писателей не произвел более Хераскова во всех родах. Жаль только, что сму недоставало краткости и оригинальности. (Род. 1733, ум. 1807 г.). Богданович, поэт милый и добродушный, первый написал у нас стихотворную сказку, слогом легким, сердечным, замысловатым. Рассказ в его «Лушеньке» прелестен и достоин предмета столь нежного; изображения живы, природны. Он разнообразен, подобно Протею; но в некоторых местах его стихосложенье падает в прозаизм. (Род. 1743, ум. 1802 г.). Басни Хемницера не писаны, а расскаваны с непритворным добродушием, и сия-то гениальная небрежность составляет прелесть, которой нельзя подражать, и которой не должно в нем исправлять. (Р. 1744, у. 1784 г.). Фонвизин в комедиях своих: Бригадире и Недоросле в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства. Его критические творения будут драгоценными для потомства, как съемок (facsimile) нравов того времени. (Р. 1745, у. 1792 г.). В. Капнист известен колкою сатирою, комедиею: Ябеда; оды его дышат благородством мыслей. Легкие стихотворения достойны древней антологии. Проза Кострова в переводе Оссиана и доныне может служить образцом благозвучия, возвышенности. Его стихи оригинальны. Перевод осьми песней Илиады не всегда равно выдержан, но силен, важен и цветист. (Р...., ум. 1796 г.). Трагик Княжнин известен на драматическом поприще Дидоною и Вадимом; из комедий его имеют большое достоинство Хвастун и Чудаки, из водевидей Сбитеньшик: прочие же театральные произведения суть рабские слепки с французских пьес. В Княжнине видно чувство. Язык его не совсем верен, но легок. (Р. 1742, у. 1791 г.). Наконеп. к славе народа и века, явился Державин, поэт вдохновенный, неподражаемый, и отважно ринулся на высоты, ни прежде, ни после него недосягаемые. Лирик-философ, он нашел искусство с улыбкою говорить царям истину, открыл тайну возвышать души, пленять сердца увлекать их то порывами чувств, то смелостью выражений, то великолепием описаний. Его слог неуловим, как молния, роскошен, как природа. Но часто восторг его упреждал в полете правила языка, и с красотами вырывались ошибки. На закате жизни Державин написал несколько пьес слабых, но и в тех мелькают искры гения, и современники и потомки с изумлением взирают на огромный талант русского Пиндара, певца Водопада, Фелицы и Бога. Так драгоценный алмаз долго еще горит во тьме, будучи напоен лучом солнечным; так курится под снежною корой трехклиматный Везувий после извержения, и путник в густом дыме его видит предтечу новой бури! (Р. 1743, у. 1816 г.). Рядом с ним, в роде легкой поэзии, возник Дмитриев и обратил на себя внимание всех. Игривым слогом, остротою ума и чистотою отделки он снискал себе имя образцового поэта и заохотил русских к отечественному стихотворству. Милая, разборчивая муза его, изъясняясь языком лучших обществ, нашла друзей даже в кругу светских женщин и своим влиянием на все сословия принесла важную пользу словесности. Летучий рассказ его повестей пленителен, утонченность насмешки в сатирах примерна; равно как поэт и баснописец Дмитриев украсился венком Лафонтена и первый у нас создал легкий разговор басенный. Оригинальный переводчик с французского, он передал нашему плавному языку всю заманчивость, всю игру, все виды первого. (Р. 1760). Между тем, как Державин изумлял своими одами, как Дмитриев привлекал живым чувством в песнях, картинностию в оригинальных произведениях — блеснул Карамзин на горизонте прозы, подобно радуге после потопа. Он преобразовал книжный язык русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталантных писателей и невежд-переводчиков. Он двинул счастливою новизною ржавые колеса его механизма, отбросил чуждую пестроту в словах, в словосочинении, и дал ему народное лицо. Время рассудит Карамзина, как историка; но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке, на лучшее. Легкие стихотворения Карамзина ознаменованы чувством: они извлекают невольный вздох из сердца девственного и слезу из тех, которые всё испытали. (Род. 1765). В шутовском роде (burlesque) известны у нас Майков и Осипов. Первый (р. 1725, у. 1778) оскорбил образованный вкус своею поэмою Елисей. Второй, в Энеиде наизнанку, довольно забавен и оригинален. Ее же на малороссийское наречие с большою удачею переложил Котляревский. Нелединский - Мелецкий познакомил нежными своими песнями прекрасных наших соотечественниц с родным языком, который так нежно ласкает слух и так сладостно проникает сердце. (Р. 1751). Ему удачно последовал граф Салтыков. Бобров изобилен сильными мыслями и резкими изображениями. В Херсониде встречаются оригинальные красоты, но слог его нередко напыщен и падение стоп тяжело. (Ум. 1810). Князь Долгорукий отличен свободным рассказом и непринужденною веселостию. Несмотря на частые стихотворные вольности, его Авось, Камин, к Соседу и Завещание всегда будут читаемы за русское их выражение. (Род. 1764). Граф Хвостов, трудолюбивый стихотворец наш, писал в различных родах, и в нем нередко встречаются новые мысли. Одами своими заслужил он недвусмысленную славу, и публика уже оценила все пинтические его произведения. (Род. 1757). М уравьев (р. 1757, у. 1807) писал мужественною, чистою, Подшивалов (р. 1765, у. 1813 г.) безъискусственною прозою. Слог обоих имеет тем большее достоинство, что они, писав в одно время с Карамзиным, соучаствовали в преобразовании слога. Макаров острыми критиками своими оказал значительную услугу словесности. (Р. 1765, у. 1804 г.). В остоков первый показал опыт над гибкостию русского языка для всех стихотворных размеров. Унылая поэзия его дышит философиею и глубоким чувством. (Р. 1781). Марин славен острыми сатирами и забавными пародиями. (Ум. 1813). Князь Горчаков превзошел его колкостию, правдою и народностью своих сатир; к сожалению, их не много. (Род. 1762). Пнин с дарованием соединял высокие чувства поэта. Слог его особенно чист. (Р. 1773, у. 1805). М. Кайсаров сделал себе имя переводом Стерна — Мартынов (р. 1771). переводил Дюпати, Руссо и некоторых греческих классиков — труд немаловажный с нашим упрямым языком, пля прозы общежительной. Князь Шаликов писал нежною прозою. Он обилен мелкими стихотворными сочинениями. Его муза игрива, но нарумянена. Панкратий Сумароков отличен развязною шутливостью в стихах своих, не всегда гладких, но всегда замысловатых. Слепой Эрот доказывает, что сибирские морозы не охладили забавного его воображения. Баснописец Измайлов рисует природу, Александр Теньер. Рассказ его плавен, естествен; подробности оного заставляют смеяться самому действию. Он избрал для предмета сказок низший класс общества и со временем будет иметь в своем роде большую цену, как верный историк сего класса народа. (Р. 1779). Беницкий написал только три сказки, зато образцовою прозою. Из них: На другой день или Завтра — будет на всех языках оригинальною, ибо кипит мыслями. Смерть рано похитила его у русской словесности! (Р. 1780, у. 1809). Шишков — писатель прозаический. Начатки его ознаменованы легкостью слога. Безделки, написанные им для детей, могут служить образцами в сем роде. Впоследствии, когда слезливые полурусские иеремиады нили нашу словесность, он сильно и справедливо восстал противу сей новизны в полемической книге О старом и новом слоге. Теперь он тщательно занимается рорусских наречий и речений и доводами о превосходстве языка славянского над нынешним русским. (Р. 1754). Стихи Шатрова полны резких мыслей и чувств, но слог псалмов его устарел. Князь Шихматов имеет созерцательный дух и плавность в элегических стихотворениях. Впрочем, его поэзия сумрачна. Судовщиков с большою легкостью и правдою обрисовал свою комедию в стихах: Неслыханное диво или Честный Секретарь. Ефимьев довольно удачно изобразил в стихотворной же комедии преступника от игры. (Ум. 1804). Аблесимов известен своим старинным национальным водевилем: Мельник. (Ум. 1784). Крюковской написал трагедию Пожарской, в которой более патриотизма, нежели истины. В ней однако же есть возвышенные места в отношении к чувствам и характерам. (Р. 1781, у. 1811). Наконец, на поприще трагическом, Озеров далеко оставил за собою своих предшественников. Им обладали чувства глубокие и воображение пламенное — творцы великих людей или могущих поэтов. Из пяти трагедий, им написанных, Эдип берет безусловное первенство над прочими, истинною выразительностью характеров и благородством разговора. Фингал одушевлен оссиановскою поэзиею: Донской изобилует счастливыми стихами, игрою страстей, народностию и картинами; но характер героя пьесы унижен. Прозаизмы редки в Озерове, и александрийские его стихи звучны и важны. (Род. 1770. ум. 1816 г.).

Теперь приступаю к характеристике особ, прославившихся или появившихся в течение последнего пятнадцатилетия. В ней найдут мои читатели и поэтов, составляющих созвездие Северной Лиры, и писателей, кои, сверкнув, исчезали подобно кометам, даже и тех, которых имена мелькают воздушными огнями в эфемерных журналах. Тесные рамы сего обзора не позволяют мне упомянуть о писателях, занимающихся предметами учеными и потому не прямо действующих на словесность.

И. Крылов возвел русскую басню в оригинальноклассическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер: его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия. Читая стихи его, не замечаешь даже, что они стопованы — и это-то есть верх искусства. Жаль, что Крылов подарил театр только тремя комедиями. По своему знанию языка и нравов русских, по неистощимой своей веселости и остроумию он мог бы дать ей черты народные. (Р. 1768). С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа нашей поэзии. Оба они поститли тайну величественного, гармонического языка русского; оба покинули старинное право ломать смысл, рубить слова для меры и низать полубогатые рифмы. Кто не увлекался мечтательною поэзиею Жуковского, чарующего столь сладостными звуками? Есть время в жизни, в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения: в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы как знакомцев встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим былое. Намагниченное железо клонится к безвестному полюсу, его воображение к таинственному идеалу чего-то красного, но неосязаемого, и сия отвлеченность проливает на все его произведения особенную привлекательность. Душа читателя потрясается чувством унылым, но невыразимо приятным. Так долетают до сердца неясные звуки Эоловой арфы, колеблемой вздохами ветра. Многие переводы Жуковского лучше своих подлинников, ибо в них благозвучие и гибкость языка украшают верности выражения. Никто лучше его не мог облечь в одежду светлого, чистого языка разноплеменных писателей; он передает все черты их со всею свежестию красок портрета, не только с бесцветной точностью силуэтною. Он изобилен, разнообразен, неподражаем в описаниях. У него

природа видна не в картине, а в зеркале. Можно заметить только, что он дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику и, вообще, наклонность к чудесному; но что значат сии бездельные недостатки во вдохновенном певце 1812 года, который дышит огнем боев, в певце Луны, Людмилы и прелестной, как радость, Светланы? Переводная проза Жуковского примерна. Оригинальная повесть его Марьина роща стоит наряду с Марфою Посадницею Карамзина. (Род. 1783 г.). Поэзия Батюшкова подобна резвому водомету, который то ниспадает мерно, то плещется ветерком. Как в брызгах оного переломляются солнца, так сверкают в ней мысли новые, разнообразные. Соперник Анакреона и Парни, он славит ждения жизни. Томная нега и страстное упоение любви попеременно одушевляют его и, как электричество, сообщаются душе читателя. Неодолимое волшебство гармонии, игривость слога и выбор счастливых выражений довершают его победу. Сами грации натирали краски, эстетический вкус водил пером его; одним словом, Батюшков остался бы образцовым поэтом без укора, если б даже написал одного Умирающего Тасса. (Р. 1787). Александр Пушкин вместе с двумя предыдущими составляет наш поэтический триумвират. Еще в младенчестве он изумил мужеством своего слога, и в первой юности дался ему клад русского языка, открылись чары поэзии. Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами. Каждая пьеса его ознаменована оригинальностию; после чтения каждой остается что-нибудь в памяти или в чувстве. Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. Не говорю уже о благозвучии стихов — это музыка; не упоминаю о плавности их — по русскому выражению, они катятся по бархату жемчугом! Две поэмы сего юного поэта: Руслан и Людмила и Кавказский Пленник исполнены чудесных, девственных красот; особенно последняя, писанная в виду седовласого Кавказа и на могиле Овидиевой, блистает роскошью воображения и всею жизнию местных красот природы. Неровность некоторых характеров и погрешности в плане суть его недостатки - общие всем пылким поэтам, увлекаемым порывами воображения. (Р. 1799). Остроумный князь Вяземский шедро сыплет сравнения п насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый и соображательный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостию и блестками ума просвещенного. Многие из мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены печатью таланта, несмотря на неровное инде падение звуков и длину периодов в прозе. Его упрекают в расточительности острот, не оставляющих даже теней в картине, но это происходит не от желания блистать умом, но от избытка оного. (Р. 1792). В Гнедиче виден дух творческий и душа воспламеняемая, доступная всему высокому. Напитанный древними классиками, он сообщил слогу своему ненапыщенную важность. Поэма его Рождение Гомера цветет красотами неба Эллады. В его элегиях отзывается чувство необыкновенно глубокое, и самый язык в оных отработан с большею тщательностию. Ему обязаны мы счастливым появлением народной идиллии. Он усыновляет греческий гекзаметр русскому вселичному языку, и Гомер является у нас в собственной одежде, а не в путах тесного утомительного александрийского размера. (Р. 1784). В сочинениях Ф. Глинки отсвечивается ясная его душа. Стихи сего поэта благоухают нравственностию; что-то невещественнопрекрасное чудится сквозь полупрозрачный покров его поэзии и, сливаясь с собственною нашею мечтою, невольно к себе привлекает. Он владеет языком чувств, каж Вяземский языком мыслей. Проза его проста, благозвучна и округлена, котя несколько плодовита. Письма русского офицера написаны пером патриотавоина. Стихотворения Глинки видимо усовершаются в отношении к механизму и обдуманности. В заключение скажем, что он принадлежит к числу писателей, которых биография служила бы лучшим предисловием и комментарием для их творений. (Р. 1787). Амазонская Муза Давы дова говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с улыбкою рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют оный. Иногда он бывает нерадив к отделке: но время ли наезднику заниматься убором? — В нежном роде — Договор с невестою и несколько элегий; в гусарском — залетные послания и зачашные песни его останутся навсегда образцами. (Р. 1784). Баратынский, по гармонии стихов и меткому употреблению языка, может стать наряду с Пушкиным. Он нравится новостью оборотов; его мысли не величественны, но очень милы. Пиры Баратынского игривы и забавны. Во многих безделках виден развивающийся дар; некоторые из них похищены, кажется. из Альбома Граций. Милонов, поэт сильный в сатирах и чувствительный в элегиях. В его стихах слышится голос тоски неизлечимой. Слог Милонова неуклончив. сжат и решителен; но стихосложение иногда отрывисто. (Р. 1792, ум. 1821). В о е й к о в прелестен в своих сатирических посланиях, нередко живописен в Садах Дедиля, силен в некоторых эпизодах поэмы: Искусства и Науки. Впрочем, он поэт, вдохновенный умом, а не воображением. Язык его не довольно высок для предмета и течение стихов временем бывает затруднено длинными речениями. (Р. 1783). Рылеев, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков. Долг скромности заставляет меня умолчать о достоинстве его произведений. (Р. 1795). Притчи Остолопова оригинальны резкостию и правдою нравоччений; сатиры его едки и портретны. Он оказал большую услугу словесности изданием словаря поэвии. (Р. 1782). Родзянка, беспечный певец красоты и вабавы: он пишет не много, но легко и приятно. Мерзляков подарил публику занимательными разборами и характеристикою наших лучших писателей. В оных, без сухости, без педантства, показав твердое знание языка, умел он оттенить каждого с верностью и разновидностию. Песни Мерзлякова дышат чувством: переводы Науки о стихотворстве, Виргилиевых Эклог и еще некоторые - примерны. Но должно признаться, что его стихосложение небрежно и утонченный вкус не всегда водил пером автора. (Р. 1778). В. Пушкин отличен вежливым, тонким вкусом, рассказом природным и плавностию, которые украшают мелкие его произведения. (Р. 1770).

Плетнев удачно пошел по следам Мерзлякова в характеристике поэтов. В мечтательной поэзии он подражатель Жуковского. Знание родного языка и особенная гладкость стихов составляют отличительные его достоинства; неопределенность цели и бледность колорита — непостатки. Его стихотворения можно уподобить гармонике. В частности у Плетнева встречаются пьесы — игрушки стихотворства, украшенные всеми цветами фантазии. В романтическом роде лучшее его произведение — элегия Миних. Дельвиг — одарен талантом вымысла; но, пристрастясь к германскому эмпиризму и древним формам, нередко вдается в отвлеченность. В безделках его видна ненарумяненая природа. Идиллии Панаева довольно естественны, очень миловидны; но они прививной плод в России. Рассказ его нежен, плавен, но язык не всегда правилен. (Род. 1792). Александр Крылов имеет редкое достоинство переливать иноземные красоты в русские, не изменяя мыслям подлинника. Муза его подражательная, но стихи очаровывают своею ввучностию. Полураввернувшиеся розы стихотворений Михайла Дмитриева обещают в нем образованного поэта, с душою огненною. Переводы Раича Виргилиевых Георгик достойны венка хвалы за близость к оригиналу и за верный звонкий язык. Олин удачно перевел некоторые горацианские оды. В его элегиях есть истина и новые мысли. Филимонов вложил много ума и чувствительности в свои произведения: он успешно переводил Горация. Межаков в безделках своих разбросал цветки светской философии с стихотворною легкостию. Козлов, поэт-слепец, иншет мило и трогательно. Иванчин-Писарев обилен картинами и словами. Сверх означенных здесь, можно с похвалою упомянуть об Александре Писареве, Маздорфе, Норове и Нечаеве. В стихотворениях Анны Буниной и Анны Волковой — двух женщин-поэтов — рассеяно много чувствительности и меланхолии, но механизм оных недовольно легок. Однако же Падение фаэтона первой из них разнообразно красотами вымысла. Еще некоторые из соотечественниц наших бросали иногда блестки поэзии в разных журналах, и хотя пол авторов можно было угадать без подписи их имен, но мы должны быть признательны за подобное снисхождение, мы должны радоваться, что наши красавины занимаются языком русским, который в их устах получает новую жизнь, новую прелесть. Они одни умеют избрать средину между школьным и слишком обыкновенным тоном, смягчить и одушевить каждое выражение. Тогда появится у нас слог разговорный, слог благородной комсдии, чего до сих пор не было на сцене, ибо он не слышен в гостиных. Для трагелии ни один из живых европейских языков не может быть склоннее русского: отсутствие членов и умодчание глаголов вспомогательных творят его плавным, разнообразным и вместе сжатым. Высокость речений славянских, важность и богатство звуков придают ему всё мужество, необходимое для выражения страстей нежных или суровых. Со всем тем у нас не существует народной трагедии и, кроме Озерова, не было трагиков: но и тот, покорствуя временности, заковал своего гения в академические формы и в рифмованные стихи. Князь Шаховской заслуживает благодарность публики, ибо один поддерживает клонящуюся к разрушению сцену, то переводными, то передельными драмами и водевилями. Он сочинил трагедию Дебору, переложил Абуфара, но настоящее дело его есть комедия. В ней видны легкость и острота, но мало оригинального. Поспешность, с которою пишет он для сцены, опереживает отделку стихов и правила языка. Из фарсов лучшие суть: Два соседа и Полубарские затем, ибо в них схвачены черты народные; из комедий благородных Своя семья и Какаду. Разговорный язык его развязен, текущ, но недовольно высок для корошего общества, и нередко поблеклая мишура заемных острот портит слог его. Кокошкин прелестно и верно перевел Мизантропа; Грибоедов весьма удачно переделал с французского комедию Молодые супруги (Le secret de menage); стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус его, и вообще в нем видно большое дарование для театра. Лобанов передал Расинову Ифигению с неотступною верностию и чувством оригинала. Он скоро подарит публику Федрою. Любители театра желают для обогащения оного иноземными классическими произведениями, чтобы у нас было более подобных ему переводчиков. Тщательная его отделка заметим мимоходом — иногда замедляет порывы страстей пылких. Висковатов написал трагедию Ксения и Темир, которой ход довольно правдоподобен, ибо основан на вымысле. Страсти высказаны стихами звучными, но они многоречивы, и действие связно. Гамлет явился на русской сцене его старанием. В комедиях Загоскина разговор естествен, некоторые лица и многие мысли оригинальны, но планы их не новы. Хмельницкому обязаны мы самыми беглыми стихами в роде комиче-Как нельзя лучше перевел он Говоруна Буасси; переделал Воздушные замки Коленд'Арлевиля и передал нам несколько водевилей. В нем мало своего: зато в подражании нет надутости. Жан др. с товарищами, перевел с французского несколько трагедий и одну комедию, от чего многоручные переводы сии получили пестроту в слоге; трагические стихи его гладки, нередко сильны и часто заржавлены старинными выражениями. Катенин, переводчик Сида, Эсфири, Грессетовой комедии Le méchant и двух четвертых действий в трагедиях Горации и Медея; сочинитель баллад, критик и антикритик, и лирических стихов. Б орис Федоров писал много для сцены, но мало по вкусу публики. Однакож в отрывках его Юлия Цезаря виден дар к трагедии. Имена прочих авторов и переводчиков пьес случайных известны только по бенефисным афишам и, вероятно, не переживут их в потомстве!

Оставив за собою бесплодное поле русского театра, бросим взор на степь русской прозы. Назвав Жуковского и Батюшкова, которые писали столь же мало, сколь прелестно, невольно останавливаешься, дивясь безлюдью сей стороны, — что доказывает младенчество просвещения. Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов, и не терпит повторений. От сего-то у нас такое множество стихотворцев (не говорю, поэтов) и почти вовсе нет прозаиков, и как первых можно укорить бледностию мыслей, так последних погрешностями противу языка. К сему присоединилась еще односторонность, происшедшая от употребления одного французского и переводов с сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американиам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки. Обратимся к прозаикам. Резким пером Каченовского владеет язык чистый и важный. Редко кто внает правила оного основательнее сего писателя. Исторические и критические статьи его дельны, умны и замысловаты. Слог переводов Вл. Измайлова цветист и правилен, подобно переводному слогу Каченовского. Оба они утвердили своими игривыми переводами знакомство публики нашей с иноземными писателями. Б р оневский, автор записок морского офицера, изобразил, будто в панораме, берега Средиземного моря. Он привлекает внимание разнообразием предметов, слогом цветущим, быстротою рассказа о водных и земных сражениях, и пылкостью, с которою передает нам геройские подвиги неприятелей, друзей и сынов России. Он счастливо избег недостатка многого множества путешественников, утомляющих подробностями. Он занимателен всем и нигде не скучен: жаль только, что язык его неправилен. Греч соединяет в себе остроту и тонкость разума с отличным знанием языка. На пламени его критической лампы не один литературный тругень опалил свои крылья. Русское слово обязано ему новыми грамматическими началами, которые скрывались доселе в хаосе прежних грамматик, и он первый проложил дорогу будущим историкам отечественной словесности, издав опыт истории оной. Греч не много писал собственно для литературы, но в письмах его Путешествия по Франции и Германии заметны наблюдательный взор и едкость сатирическая, но в рассказе пробивается нетерпенье. Б у лгарин, литератор польский, пишет на языке нашем с особенною занимательностию. Он глядит на предметы с совершенно новой стороны, излагает мысли свои с какою-то военною искренностию и правдою, без пестроты, без игры слов. Обладая вкусом разборчивым и оригинальным, который не увлекается даже пылкою молодостью чувств, поражая незаимствованными формами слога, он, конечно, станет в ряд светских наших писателей. Его Записки об Испании и другие журнальные статьи будут всегда с удовольствием читаться не только русскими, но и всеми свропейцами. Головнин описал свое пребывание в плену японском так искренно, так естественно, что ему нельзя не верить. Прямой, неровный слог его - отличительная черта мореходнев - имеет большое достоинство и в своем кругу занимает первое место, после слога Пл. Гамалеи, который самые сухие начки оживляет своим красноречием. Свиньин, сочинитель живописного Путешествия по Америке и многих журнальных статей, пишет обо всем русском, достойном внимания патриотов. Его слог небрежен, но выразителен. В Письмах Скимнина, сочинении Ф. Львова, нередко вспыхивают сердечные чувства с искрами поэзии: там много новых речений, но мало новости в слоге. В статьях Н. Кутузова видны цель и дух благородной души; но слог несколько пышен для избранных им предметов. Критики Сомова колки и не всегда справедливы. П. Яковлев обещает многое вроде Жуи: слог его оригинален, отрывист; приноровления остры и забавны. Кюжельбекер одарен летучим воображением и мечтательностию. В Европейских письмах его встречаются картины удачные и новые. Нарежный, в Славянских вечерах своих, разбросал дикие цветы северной поэзии. Впрочем, проза его слишком мерна и однозвучна. Он написал два романа, где много портретов и новых мыслей. Дм. Княжевич пишет мило, умно и правильно — три вещи довольно редкие на Руси: его отечественные синонимы очень занимательны. Меньшенина перевод Писем о химии заслуживает внимания равно в прозаическом, как и в стихотворном отношениях: он светел, игрив, верен оригиналу и правилам нашего слова.

Сим заключаю ряд прозаиков; ибо другие безыменные или ожидающие имен писатели, по малости или по бесхарактерности их творений, не произвели никакого влияния на словесность.

В сей картине, мною начертанной, читатели увидят, в каком бедном отношении находится число оригинальных писателей к числу пишущих, а число дельных произведений к количеству оных. Рассмотрим тому причины.

Во-первых: необъятность империи, препятствуя сосредоточению мнений, замедляет образование вкуса публики. Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища, умноженные благотворным монархом и поддерживаемые щедротами короны, разливают свет наук, но составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России. Недостаток хороших учителей, дороговизна выписных и влюе того отечественных книг и малое число журналов, сих призм литературы, не позволяют проницать просвещению в уезды, а в столицах содержать детей не каждый в состоянии. Феодальная умонаклонность многих дворян усугубляет сии препоны. Одни рубят гордиев узел наук мечом презрения, другие не хотят ученьем мучить детей своих и для сего оставляют невозделанными их умы, как нередко поля из пристрастия к псовой охоте. В столицах рассеяние и страсть к мелочам занимают юношей; никто не посвящает себя безвыгодному и бессребренному ремеслу писателя, и если пишут, то пишут не по занятию, а шутя; и к чести военного звания — должно сказать, что молодые офицеры наиболее, в сравнении с другими, основательно учатся. Впрочем, у нас нет европейского класса ученых (lettrés, savants), ибо одно счастие дает законы обществу, а наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе не богаты. В отношении к писателям я замечу, что многие из них сотворили себе школы, коих упрямство препятствует усовершенствованию слова; другие не дорожат общим мнением и на похвалах своих приятелей засышают беспробудным сном золотой посредственности.

Человек есть существо более тщеславное, чем славолюбивое. Поэт, романтик, ученый работает в тиши кабинета, чтобы собрать дань похвалы в людях; но когда он видит труды свои гибнущими в книжной лавке, и безмолвие, встречающее его в обществе, где даже никто не подозревает в нем таланта; когда, вместо наград, он слышит одни насмешки: — променяет ли он маки настоящего на неверный лавр отдаленного будущего?

Наконец, главнейшая причина есть изгнание родного языка из обществ и равнодушие прекрасного пола ко всему, на оном писанному! Чего нельзя совершить, дабы заслужить благосклонный взор красавицы? В какое прозаическое сердце не вдохнет он поэзии? Одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются Музы на вас самих!

Но утеншися! Вкус публики, как подземный ключ, стремится к вышине. Новое поколение людей начинает

чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, котя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает богатую жатву.

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1825 ГОДА

В старину науки зажигали светильник свой в погасающих перунах войны и цветы красноречия всходили под тению мирных олив. В наши времена, когда состояние ученого и воина не сливается уже в одну черту, мы видим совсем противное: топограф и антикварий поверяют свои открытия под знаменем бранным; гром отдаленных сражений одушевляет слог авторов и пробуждает праздное вниманье читателей; газеты превращаются в журналы и журналы в книги; любопытство растет, воображенье, недовольное сущностию, алчет вымыслов и под политическою печатью словесность кружится в обществе. Это было и с нами в Отечественную войну. Наполеон обрушился на нас -- и все страсти, все выгоды пришли в волнение; взоры всех обратились на поле битвы, где полсвета боролось с Россией и целый свет ждал своей участи. Тогда слова: Отечество и слава электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением. Похвальные песни, плохи или хороши они были, раздавались по улицам и им рукоплескали в гостиных; одним словом, всё тогда казалось прекрасным, потому что всё было истинным. Но политическая буря утихла; укротился и энтузиазм. Внимание наше, утомленное блеском побед и подвигов, перевысивших все затейливые сказки Востока, и воображение, избалованное чудесным, напряженное великим, - постепенно погрузились опять в бездейственный покой. Огнистая лава вырвалась, разлилась, подвигнула океан — и застыла. Пепел лежит на ее челе, но в этом пепле таится растительная жизнь и когда-нибудь разовьются на ней драгоценные виноградники. Вот картина любви наших соотечественников к словесности после войны; но теперешнему ее состоянию были еще и другие причины. Отдохновение после сильных ощущений обратилось в ленивую привычку; непостоянная публика приняла вкус ко всему отечественному, как чувство, и бросила его, как моду. Войска возвратились с лаврами на челе, но с французскими фразами на устах, и затаившаяся страсть к галлицизмам захватила вдруг все состояния сильней чем когда-либо. Следствием этого было совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам, начинавшим возникать в это время—и наконец совершенное оцепенение словесности в прошедшем году. Так гаснет лампада без течения воздуха, так заглушается дарованье без ободрений! О прочих причинах, замедливших ход словесности, мы скажем в свое время.

Приступаю к делу:

Ни один еще год не был беднее оригинальными произведениями прошедшего 1823. За исключением книг, до точных наук относящихся, вся наша словесность заключалась в журнальных, при том весьма немногих статьях. Лишь печатные промышленники тискали вторым и третьим изданием сонники и разбойничьи романы для домашнего обихода в провинциях. Порой появлялись порядочные и сомнительные переводы прекрасных романов Вальтера Скотта, но ни одно из сих творений не вынесло имя переводчика на поверхность сонной Леты; во-первых потому, что пора славы за прозаические переводы уже миновала, а во-вторых и слог их слишком небрежен.

Из оригинальных книг вышли в свет истекшего года: Новейшие известия о Кавказе С. Броневского и Путешествие по Тавриде Муравьева-Апостола. Обе сии книги во всех отношениях заслуживлот внимание европейцев и особенную благодарность русских. Точность исторических изысканий, новость сведений географических и чистота слога венчают их похвалою археологов и литераторов, и вообще делают их необходимыми книгами для ученого и светского человека. Г. Булгарин, в своих Записках о Испании, как очевидец, описал живо и завлекательно многие случаи народной войны испанцев с французами, обычаи первых и панораму благословенной стороны вторых. Рассказ его свеж и разнообразен, изложение быстро и выбор предметов нов. Г-н Мерэляков издал Краткое начерта-

ние изящной словесности, весьма полезное для учащихся и учащих, где он удачно подражал Эшембургу. Слог его облечен убеждением, силою и красотою. Сочинение г. Бутурлина О нашествии Наполеона на Россию и книжечка графа Ростопчина: Правда о пожаре Москвы только по именам сочинителей принадлежат к русской словесности, потому что писаны пофранцузски; что же касается до слога переводов их, он неровен и полон галлицизмов. В числе книг полемических заметны: Примечания г. Грамматина на слово о полку Игореве, в котором он разрешил многие сомнительные места; но тон самоуверенности не всегда доказывает, что его доказательства бесспорны. Г. Греч издал опыт новой русской грамматики под именем К о рректурных листов, где развертывает совершенно новые и ближайшие к природе русского языка начала. К. Калайдович, почтенный археолог наш, посвятивший себя старине русской, напечатал статью: Археологические изыскания в Рязанской губернии, где виден зоркий взгляд знатока и опытность ученого. Новое детское чтение С. Глинки по слогу и цели своей имеет большое достоинство, и его же краткая Русская история достойна быть ручною книжкою в семействах. Сим заключается книжная фаланта.

Маленькая поэма Оскар и Альтос, г-на Олина, и перевод Воспоминаний Легуве, г-на Глебова, были единственными отдельными стихотворениями. Содержание первой взято из Оссиана; в ней беглые стихи, несколько удачных картин, искры чувства — и только. Достоинство же другой заключается в верности перевода и плавности стихосложения. Говоря о театре, трудно решить: актеры, авторы или публика были виною упадка оного? Вероятно, что все в свою очередь; но то уже бесспорно, что никогда театр и спена не были пустее. Не считая пьес, которые не читаются и не играются, одни старинные оперы забавили праздничных зрителей, а драмы и переводные водевили продовольствовали публику в течение недели. Из числа последних, князя Шаховского берут безусловное первенство над прочими. Деревенский философ, комедия г. Загоскина, развертывает забавные черты наших баричей, доказывая комический дар автора. Сафо, лирическая трагедия г. Сушкова, имеет только один недостаток: именно, что героиня пьесы топится в 4-м, а не в 1-м акте. В Персее г. Ростовцова есть сильные стихи, удачные сцены, счастливые мысли — и недостаток действия. Две последние трагедии не были представлены, и только прекрасный перевод Федры г. Лобановым одушевил умирающую сцену. В ней: жар чувств и прелесть стихов и краткость выражений переданы точно и плавно. Публика увенчала переводчика рукоплесканиями, а критика заслуженною похвалою.

Чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, развивают и в публике вкус к родной словесности. Нередко те, которые приезжают туда, чтобы других посмотреть или показать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с полезнейшею охотою. По обычаю, Императорская Российская Академия имела свое годичное торжественное заседание и там знаменитый историограф наш, Н. М. Карамзин, растрогал слушателей отрывком своим из 10 тома Ист. Гос. Росс. о убийстве паревича Димитрия. Что сказать о совершенстве слога, о силе чувств! Сии качества от столь прекрасного начала идут все выше и выше, как орел, устремляющийся с вершины гор в небо. Г. Жуковский читал прекрасный отрывок из переводимой им Энеиды и князь Шаховской отрывок из высокой комедии своей Аристофан. Общество соревнователей благотворения и просвещения имело тоже одно публичное заседание, где разнообразие предметов шло наравне с занимательностию их и любопытством слушателей. Между прочими достойными пьесами отличалась трогательная сцена из Шиллеровой Иоанны д'Арк Жуковского и Послание к Державину г. Туманского; оно обличает талант молодого певца. В прозе: Греча и князя Вяземского отрывки из жизни И. И. Дмитриева. Общество при Московском Университете собиралось для публичных заседаний ежемесячно; труды оного напечатаны. Должно сознаться, что литературные журналы всей Европы при нынешней естественной умонаклонности к политике — весьма незначительны, и в этом отношении русские, нередко, берут над ними преимущество. Из периодических изданий отличается у нас полезными изысканиями до отечественных древностей и языка относящимися: Труды общества при Московском Университете. В каждой части оных всегда есть много дельного. В Сочинениях и переводах, издаваемых Российскою Академиею, заключались переводы с старых и новых языков, критики и этимология слов русских. Модный журнал (издатель г. Шаликов, в Москве) пленял читателей чужою любезностию, невинными критиками, довольно нелюбопытными письмами и милыми стишками. Журнал художеств (изд. г. Григорович в С. Петербурге), достойный благодарности по цели и похвалы по исполнению; составлялся из прекраснейших критических, теоретических и описательных статей, до изящных художеств касающихся, написанных с чувством знатока и языком опытного художника. Его еще мало у нас оценили. Сибирский вестник (изд. г. Спасский в С.-Петербурге) содержал в себе весьма любопытные известия о Сибири, которая менее известна нам самим, чем земля эскимосов. И н в алид (изд. г. Воейков в С.-Петербурге) принадлежит к словесности только своими прибавлениями, в коих. если он был беднее других прозою, зато богатее всех хорошими стихами. Стихотворения г. Языкова, некоторые пьесы г. Плетнева, князя Вяземского, Жуковского, прелестное Послание к Гнедичу Баратынского Невское кладбище, самого издателя, украсили оный. Благонамеренный (изд. г. Измайлов С.-Петербурге) забавен для своего круга. Журнал общества соревнователей просвещения благотворения (в С. Петербурге), издаваемый столь священною целью, нередко заключал в себе достойные его листки. Между прочими: О древних посольствах в Россию, г. Корниловича, О романтизме, г. Сомова, и Разбор русских писателей, князя Цертелева, достойны внимания. Отечественные записки (изд. г. Свиньин, в С.-Петербурге), котя не всегда с историческою точностию, но всегда с патриотическим жаром хранили и передавали черты народного нрава, частных дел и замечательных событий. Вестник Европы (изд. г. Каченовский, в Москве), патриарх русских журналов, правда далеко отстал в поэзии от петербургских периодических изданий, но по части прозаической шел обыкновенным своим твердым шагом. В нем в прозе заметны статьи: г. Гусева, О метафизиках немецких, и О русском языке. неизвестного; по стихотворениям: отрывок из комедии Лукавин, г. Писарева, и его же Пир мудрепов. Северный архив (в С.-Петербурге), издатель оного г. Булгарин, с фонарем археологии спускался в неразработанные еще рудники нашей старины и сбиранием важных материалов оказал большую услугу русской истории. Все новейшие путешествия, наши и чужестранные, являлись там первые. Там же Критика, Леллсвеля, на Историю Государства Российского была приятным и редким феноменом в областях словесности; беспристрастие, эдравый ум и глубокая ученость составляют ее достоинство. Прибавления к Северному архиву, г. Булгарина же, оживляют на берегах Невы парижского пустынника. Живой, забавный слог и новость мыслей готовят в них для публики занимательное чтение, а оригиналы столицы и нравы здешнего света — неисчерпаемые источники для его сатирического пера. Сын отечества (изд. г. Греч, в С.-Петербурге), неизменный поборник чистоты языка, по привычке заключал в себе много дельных статистических статей и очень хороших стихотворений. В числе критик: (мимоходом, весьма плодовитых) особенно замысловаты: Письма на Кавказе, самого издателя. В произведениях поэзии заметны: Василёк, прекрасная басня И. А. Крылова; Путешественник, Жуковского: Последний Бард, Мансурова; Май, Туманского, отрывок из Освобожденного Иерусалима, Раича, и некоторые другие. Прибавления к Сыну отечества (изд. г-да Княжевичи, в С.-Петербурге) отличаются прекрасным выбором повестей и чистым плавным языком. Между немногих оригинальных пьес носит отпечаток народности Иван Костин, г. Панаева; прочие переведены с разных языков. Вообще же во всех почти журналах число оригинальных произведений к числу переводов относилось как два к десяти, а пропорция чисто литературных статей к ученым была едва ль не тоще: это печально.

Мало-помалу Европа сквозь тусклые переводы начинает распознавать нашу словесность. В прошлом году почти все повести из Полярной звезды были переданы на немецкий язык в журнале г. Ольдекопа и повторились в других заграничных журналах. Г. Линде перевел на польский все статьи до истории русской литературы касающиеся и приложил при переводе книги о том же предмете г. Греча, наконец г. Сен-Мор, по следам Боуринга, Борха и Гетце, примерных переводчиков-поэтов, издал ныне на французском языке Русскую логию; но опыт его был равно неудачен, как перевод и как сочинение: в копии нет и следов национальности образца. Русские цветы потеряли там не только запах, но даже и самый цвет свой. Так прокрался в вечность молчаливый прошедший гол: казалось, он был осенью для соловьев нашей поэзии и только в Полярной звезде отозвались они — и умолкли снова; только (с благодарностию замечаем), по быстрому и благосклонному приему Полярной звезды, заметно было, что еще не погас жар к отечественной словесности в публике; впрочем надобно и то сказать, что русской язык, подобно германскому в XVIII веке, возвышается ныне, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Теперь ученики пишут таким слогом, которого самые гении сперва редко добывали, и, теряя в численности творений, мы выигрываем в чистоте слога. Один недостаток — у нас мало творческих мыслей. Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то; — но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец-Алкид, который в колыбели еще удущал эмей! — И вечно ли спать ему?

Р. S. Лишь теперь вышло в свет: Путе m е ствие около света, г. Головнина. Первая часть оного посвящена рассказу и описаниям истинно романическим; слог оных проникнут занимательностию, дышит искренностию, цветет простотою. Это находка для моряков и для людей светских. Еще спешим обрадовать любителей поэзии: маленькая и, как слышно и как несомненно, прекрасная поэма А. Пушкина: Бакчи-Сарайской фонтан уже печатается в Москве.

1 Russian Anthology.

² Poëtische Erzeugnisse der Russen.
3 Stimmen des Russischen Volks.

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛЕ 1825 ГОЛОВ

Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных чувств и гениальных творений. Простор около умов высоких порождает гениев: они рвутся расшириться душою и наполнить пустоту. По времени круг сей стесняется; столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают их. Жажда нового ищет нечерпанных источников, и гении смело кидаются в обход мимо толпы в поиске новой земли мира нравственного и всщественного; пробивают свои стези; творят небо, землю и ад родником вдохновений; печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой харажтер, озаряют обоих своей славою и всё человечество своим умом!

За сим веком творения и полноты следует век посредственности, удивления и отчета. Песенники последовали за лириками, комедия вставала за трагедиею; но история, критика и сатира были всегда младшими ветвями словесности. Так было везде, кроме России; ибо у нас век разбора предъидет веку творения; у нас есть критика и нет литературы; мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать причины столь странного явления.

Первая заключается в том, что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народною гордостию, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унизить даже и то, что есть. К довершению несчастия мы выросли на одной французской литературе, вовсе несходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка. Застав ее, после блестящих произведений, в поре полемических сплетней, и приняв за образец бездушных умников века Людовика XV, мы и сами принялись толковать обо всем вкривь и вкось. Говорят: чтобы всё выразить, надобно всё чувствовать; но разве не надобно всего чувствовать, чтобы всё понимать? а мы слишком бесстрастны, слишком ленивы и недовольно просвещенны, чтобы и в чужих авторах видеть всё высокое, оценить всё великое. Мы выбираем себе авторов по плечу: восхищаемся д'Арленкурами, критикуем Лафаров и Делилев, и заметьте: перебранив всё, что у нас было вздорного, мы еще не сделали комментария на лириков и баснописцев, которыми истинно можем гордиться.

Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей: теперь мы начинаем чувствовать и мыслить — но ощупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но не занятый политикою — весьма естественно, что деятельность его хватается за всё, что попадется, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества заражены тою же болезнию. Мы, как дети, которые испытывают первую свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что внутри.

Теперь спрашивается: полеэна или нет периодическая критика? Джеффери говорит, что «она полеэна для периодической критики». Мы не можем похвалиться и этим качеством: наша критика недалеко ушла в основательности и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности и более в забаву, чем в пользу. Словом, я думаю, наша полемика полезнее для журналистов, нежели для журналов, потому что критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало: но между тем листы наполняются и публика, зевая над статьями вовсе для ней незанимательными, должна разбирать по складам надгробия безвестных людей. Справедливо ли однако ж так мало заботиться о пользе современников, когда подобным критикам так мало надежды дожить до потомства?

Мне могут возразить, что это делается не для наставления неисправимых, а для предупреждения молодых писателей. Но, скажите мне, кто ставит охранный маяк в луже? Кто будет читать глупости для того, чтобы не писать их?

Говоря это, я не разумею, однако ж, о критике, которая аналитически, вообще, занимается установкою правил языка, открывает литературные злоупотребления, разлагает историю и, словом, везде, во всем отличает истинное от ложного. Там, где самохвальство, взаимная похвальба и незаслуженные брани дошли до крайней степени, там критика необходима для разрушения заговоренных броней какой-то мнимой славы и самонадеянности, для обличения самозванцев литераторов. Желательно только, чтобы критика сия отвергла все личности, все частности, все расчетные виды; чтобы она не корпела над запятыми, а имела бы взор более общий, правила более стихийные. Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно.

Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо следует другой: «отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных?» Предслышу ответ многих, что: от недостатка ободрения! Так, его нет, и слава богу! — Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нишенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших - рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение их нило. Порох на воздухе дает только вспышки, но сжатый в железе он рвется выстрелом и движет и рушит громады... и в этом отношении к свету мы находимся в самом благоприятном случае. Уважение или, по крайней мере, внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили все внимание толпы, -- но тут в проигрыше конечно не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда недостает собственной решимости вырваться из бисерных сетей света — но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе, как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества; скрывать искру божества как пятно, стыдиться доблести как порока!! Уединение зовет его, душа просит природы; богатое нечерпанное лоно старины и мощного свежего языка

перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!

Однако ж такие чувства могут зародиться только в душах, куда заране брошены были семена учения и размышленья, только в людях, увлеченных случайным рассеянием, у которых есть к чему воротиться. Но таково ли наше воспитание? Мы учимся припеваючи и от того навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уж он деловой и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником, от того, что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролётная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдьи сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бестепная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный!

Так ли жили, так ли изучались просветители народов? Нет! в тишине затворничества зрели их думы. Терновою стезею лишений пробивались они к совершенству. Конечно, слава не всегда летит об руку с гением; часто современники гнали, не понимая их; но звезда будущей славы согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, которое вопрошали они, дабы разгадать современное и научить потомство. Правда, и они прошли через свет, и они имели страсти людей: зато имели и взор наблюдателей. Они выкупили свои проступки упроченною опытностию и глубоким познанием сердца человеческого. Не общество увлекло их, но они повлекли за собой общества. Римлянин Альфиери, неизмеримый Бейрон, гордо сбросили с себя золотые цепи Фортуны, презрели всеми заманками большого света — за то целый свет под ними и вечный день славы их наследие!!

Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни нашей, кроме многосторонности и

безличня самого учения (quand même), которое во всё мешается, всё смешивает и ничего не извлекает, — нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали пофранцузски, теперь залетели в тридевятую даль понемецки. Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней мере, наша Муза остается невестою-невидимкою. Конечно можно утешиться тем, что мало потери, так или сяк пишут сотни чужестранных и междуусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя водить на помочах. Оглядываясь назал. можно век назади остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас с образцами. Притом все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они, следовательно подражать им рабски в других обстоятельствах - невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только мерою достоинства наших творений. Так чужое высокое понятие порождает в душе истинного поэта неведомые дотоле понятия. Так, по словам астрономов, из обломков сшибающихся комет образуются иные, прекраснейшие миры!

Я мог бы яснее и подробнее исследовать сказанные причины; я бы должен был присовокупить к ним и раннее убаюкивание талантов излишними похвалами или чрезмерным самолюбием; но уже время, оставив причины, взглянуть на произведения.

Прошедший год утешил нас за безмолвие 1823. Н. М. Карамзин выдал в свет X и XI томы И стор и и Государства Российского. Не входя, по краткости сего объема, в рассмотрение исторического их достоинства, смело можно сказать, что в литературном отношении мы нашли в них клад. Там видим мы свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности оборотов языка, столь послушного под рукою истинного дарования. Сими двумя томами началась и заключилась однако ж изящная проза 1824 года. Да и вообще, до сих пор, творения почтенного нашего историографа возвышаются подобно пирамидам на степи

русской прозы, изредка оживляемой летучими журнальными бедуинами или тяжелодвижущимися караванами переводов. Из оригинальных книг появились только повести Г. Нарежного. Они имели б в себе много характеристического и забавного, если бы в их рассказе было поболее приличия и отделки, а в происшествиях поменее запутанности и чудес. В роде описательном, путешествие Е. Тимковского чрез Монголию в Китай (в 1820 и 21 годах) по новости сведений, по занимательности предметов и по ясной простоте слога, несомненно есть книга европейского достоинства. Из переводов заслуживают внимания: записки Полковника Вутье о войне греков, переданные со всею силою, со всею военною искренностию г. Сомовым, к которым приложил он введение, полное жизни и замечаний справедливых. История греческих происшествий из Раффенеля, Метаксою, поясненная сим последним. Добродушный, очень игриво переведенный г. Дешаплетом, 3-я часть Лондонского пустынника, его же и жизнь Али-Паши Янинского, г. Строевым. К сему же числу принадлежит и книжечка: Искусство жить — извлеченное из многих новейших философов и оправленное в собственные мысли извлекателя, г. Филимонова. Появилось также несколько переводов романов Вальтера Скотта, но ни один прямо с подлинника и редкие прямо по-русски.

История древней словесности сделала важную находку в издании И о а н н а Экзарха Болгарского, современника Мефодиева. К чести нашего века надобно сказать, что русские стали ревностнее заниматься археологиею и критикою историческою, сими основными камнями истории. Книга сия отыскана и объяснена г. Калайдовичем, неутомимым изыскателем русской старины, а издана в свет иждивением графа Н. П. Румянцова, сего почтенного вельможи, который один изо всей нашей знати не щадит ни трудов, ни издержек для приобретения и издания книг, родной истории полезных. Таким же образом напечатан и Белорусский Архив, приведенный в порядок г. Григоровичем. Общество истории и древностей русских издало 2-ю часть записок и трудов своих; появилось еще 15 листов летописи

Нестора по Лаврентьевскому списку, притотовленных профессором Тимковским.

Стихотворениями, как и всегда, протекшие 15 месяцев изобиловали более чем прозою. В. А. Жуковский издал в полноте рассеянные по журналам свои сочинения. Между новыми достойно красуется перевод шиллеровой Девы Орлеанской, перевод, каких от души должно желать для словесности нашей, чтобы ознакомить ее с настоящими чертами иноземных классиков. Пушкин подарил нас поэмою Бахчисарайской фонтан: похвалы ей и критики на нее уже так истерлись от беспрестанного обращения, что мне остается только скавать: она пленительна и своенравна, как красавица Юга. Первая глава стихотворного его романа Онегин, недавно появившаяся, есть заманчивая, одушевленная картина неодушевленного нашего света. Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества — стихи загораются поэтическим жазвучней текут в душу. Особенно разговор с книгопродавием вместо предисловия (это счастливое подражание Гёте) кипит благородными порывами человека. чувствующего себя человеком. «Блажен, говорит там в негодовании поэт:

> Блажен кто про себя таил Души высокие созданья, И от людей, как от могил, Не ждал за чувства воздаянья!

И плод сих чувств есть рукописная его поэма Ц ы г а н е. Если можно говорить о том, что не принадлежит еще печати, котя принадлежит словесности, то это произведение далеко оставило за собой всё, что он писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природою. И всё это, выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры? И. А. Крылов порадовал нас новыми прекрасными баснями; некоторые из них были напечатаны в повременных

изданиях, и скоро сии плоды вдохновения, числом до тридцати, покажутся в полном собрании. Н. И. Гнедич недавно издал сильный и верный свой перевол (с новогреческого языка) песен Клефтов, с приложением весьма любопытного предисловия. Сходство их с старинными нашими песнями разительно. На днях выйдет в свет поэма И. И. Козлова: Чернец; судя по известным мне отрывкам она исполнена трогательных изображений, и в ней теплются нежные страсти. Рылеев издал свои Думы и новую поэму Войнаровский; скромность заграждает мне уста на похвалу, в сей последней, высоких чувств и разительных картин украинской и сибирской природы. Ночи на гробах князя С. Шихматова в облаке отвлеченных понятий заключают многие красоты пинтические, подобно искрам золота, вкрапленным в темный гранит. Ничего не скажу о Балладах и романсах г. Покровского, потому что ничего лестного о них сказать не могу; похвалю в Восточной лютне г. Шишкова 2-го звонкость стихов и плавность языка для того, чтобы похвалить в ней что-нибудь. Впрочем в авторе, порою, проглядывает дар к поэзии, но вечно в веригах подражания. Наконец упоминаю о стихотворении г. Олина Кальфон для того, что сей набор рифм и слов называется поэмою. Присоединив к сему несколько приятных безделок в журналах, разбросанных Н. Языковым, И. И. Козловым, Писаревым, Нечаевым... я подвел уже весь итог нашей поэзии.

Русский театр в прошедшем году обеднел оригинальными пьесами. Замысловатый князь Шаховской очень удачно, однако ж, вывел на сцену Вольтера-юношу и Вольтера-старика в дилогии своей: Ты и вы, и переделал для сцены: эпизод Финна из поэмы Пушкина Людмила и Руслан.

В Москве тоже давали, как говорят, хороший перевод: Ш колы стариков (Делавиня) г. Кокошкина и еще кой-какие водевили и драмы, о коих по слухам судить не можно; а здесь некоторые драмы обязаны были успехом своим сильной игре г. Семеновой и Каратыгина. Я бы сказал что-нибудь о печатной, но не игранной комедии г. Федорова: Громилов, если бы мне удалось дочесть ее. К числу театральных представлений принадлежит и Торжество муз, пролог г. М. Дмитриева

на открытие большого Московского театра. В нем, хотя форма и очень устарела, есть счастливые стихи и светлые мысли. Но всё это выкупила рукописная комедия г. Грибоедова: Горе от ума, феномен, какого не видали мы от времен Недоросля. Толпа характеров. обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах. Всё это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее не смеявшись, не тронувшись до слез. Люди, призабавляться по французской системавычные лаже тике, или оскорбленные зеркальностию сцен, говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится; но пусть они говорят, что им угодно: предрассудки рассеются и будущее оценит достойно сию комедию, поставит ее в число первых творений народных.

Удача альманахов показывает нетерпеливую наклонность времени не только мало писать, но и читать мало. Теперь ходячая наша словесность сделалась карманною. Пример Полярной Звезды породил множество подражаний: в 1824 году началось Мнемозиною, которая если не по объему и содержанию, то по объявлению издателей принадлежит к дружине альманахов. Страсть писать теории, опровергаемые самими авторами на практике, есть одна из примет нашего века, и она заглавными буквами читается в Мнемозине. Впрочем за исключением диктаторского тона и опрометчивости в суждениях, в г. Одоевском видны ум и начитанность. Сцены из трагедии Аргивяне и пьеса на смерть Бейрона г. Кюхельбекера — имеют большое достоинство. На 1825 год Театральный альманах, Русская Талия (издатель г. Булгарин) между многими хорошими отрывками заключает в себе 3-е действие комедии Горе от ума, которое берет безусловное преимущество над другими. Потом отрывок из трагедии Венцеслав, Ротру, счастливо переделанной Жандром, и сцены из комедии Нерешительный г. Хмельницкого и Ворожея кн. Шаховского. Кроме этого книжка сия оживлена очень дельною статьею г. Греча о русском театре и характерическими выходками самого издателя. Русская старина, изданная г.г. Корниловичем и Сухоруковым.

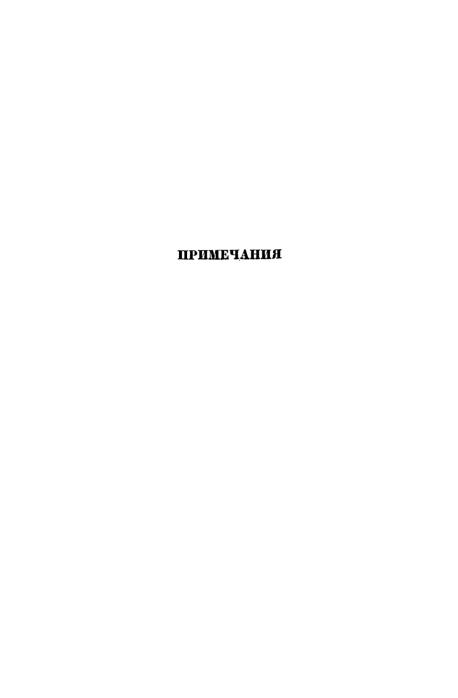
Из них первый описал век и быт Петра Великого, а другой — нравы и обычаи поэтического своего народа — казаков. Оба рассказа любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным, старинным источникам. Невский альманах (изд. г. Аладыин) нелестный попутчик для других альманахов. Наконец Северные пветы, собранные бароном Лельвигом. блистают всею яркостию красок поэтической радуги, всеми именами старейшин нашего Парнасса. Хотя стихотворная ее часть гораздо богаче прозаической, но и в этой особенно занимательна статья г. Лашкова: А фонская гора и некоторые места в письмах из Италии. Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут потому только, что они живы, — но у всякого свой вес слов, у каждого свое мнение. Из стихотворений предестны наиболее: Пушкина дума Олег и Демон, Русские песни Дельвига и Череп Баратынского. Один только упрек сделаю я отношении к цели альманахов: — Северные можно прочесть не улыбнувшись.

Журналы попрежнему шли своим чередом, т. е. все кружились по одной дороге: ибо у нас нет разделения работы, мнений и предметов. Инвалид наполнял свои листки и Новости литературы лежалою прозою и перепечатанными стихами. Заметим, что с некоторого времени закралась к издателям некоторых журналов привычка помещать чужие произведения без спросу и пользоваться чужими трудами безответно. Вестник ропы толковал о старине и заржавленным циркулем измерял новое. Подобно прочим журналам, он, особенно в прошлом году, изобиловал критическою перебранкою; критика на предисловие к Бахчисарайскому фонтану, с ее последствиями, достойна порицания, если не по предмету, то по изложению. Подобная личность вредит словесности, оправдывая неуважение многих к словесникам. Этого мало: — кто-то русский напечатал в Париже влую выходку на многих наших литераторов и перед глазами целой Европы, не могши показать достоинств, обнажил может быть мнимые их недостатки и свое пристрастие. Другой, там же, защищал далеких обиженных, хотя не

вовсе справедливо, но весьма благородно, и полемическая наша междуусобица загорелась на чужой земле. 1825 год ознаменовался преобразованием некоторых старых журналов и появлением новых. У нас недоставало газеты для насущных новостей, которая соединяла бы в себе политические и литературные вести: г.г. Греч и Булгарин дали нам её — это Северная пчела. Разнообразием содержания, быстротою сообщения новизны, черезденным выходом и самою формою — она вполне удовлетворяет цели. Каждое состояние, каждый возраст находит там что-нибудь по себе. Между многими любопытными и хорошими статьями заметил я, о романах г. Сомова и нравы Булгарина. Жаль, что г. Булгарин не имеет времени отделывать свои произведения. В них даже что-то есть недосказанное; но с его наблюдательным взором, с его забавным сгибом ума он мог бы достичь прочнейшей славы. Северный архив и Сын отечества приняли в свой состав повести; этот вавилонизм не очень понравится ученым, но публика любит такое смещение. За чистоту языка всех 3-х журналов обязаны мы г. Гречу — ибо он заведывает грамматическою полициею. В Петербурге на сей год издается вновь журнал: Библиографические листки, г. Кеппеном. Это необходимый указатель источников всего писанного о России. В Москве явился двухнедельный журнал: Телеграф, изд. г. Полевым. Он заключает в себе воё; извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие вот знаки сего Телеграфа, а смелым владеет бог, его девиз.

Журналы наши не так однако ж дурны, как утверждают некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным. Назовите мне хоть один сносный литературный журнал во Франции, кроме Revue Encyclopédique? Немцы уж давно живут тольке переводами из журнала г. Ольдекопа, у которого, не к славе здешних немцев, едва есть тридцать подписчиков, и одни только англичане поддерживают во всей чистоте славу ума человечсского.

Оканчиваю. Знаю, что те и те восстанут на меня за то и то-то, что на меня посыплется град вопросительных крючков и восклицательных шпилек. Знаю, что я избрал плохую методу, ссориться с своими читателями в предисловии книги, которая у них в руках... но как бы то ни было, я сказал что думал — и Полярная Звезда перед вами.



Стихотворные произведения А. А. Бестужева-Марлинского, разбросанные в журналах и альманахах, при жизни автора ни разу не были собраны и изданы отдельно. Только после гибели поэтадекабриста они были объединены в XI части его «Полного собрания сочинений», вышедшей в свет в 1838 году (ценз. разр. 28 ноября 1838 г.). Здесь были напечатаны: незаконченная повесть в стихах «Андрей Переяславский» (две первые главы и два отрывка из незакончениой пятой), а также '28 мелких стихотворений. Ряд стихотворений, публиковавшихся самим Бестужевым в журналах, в XI часть полного собрания его сочинений оказался не включенным, но зато 12 стихотворений появилось здесь впервые.

В подготовке издания принимала участие сестра поэта Ел. А. Бестужева, в распоряжении которой были авторские рукописи (автографы), по большей части не дошедшие до нас. Это определило авторитетность издания, несмотря на некоторые его несомненные недостатки. Помимо неполноты, в издании не выдержан хронологический порядок расположения материала, не всегда правильна и точна датировка стихотворений, а некоторые вещи даны в искаженных и сокращенных текстах, что объяснялось или цензурой, или

редакционными недосмотрами.

Собрание стихотворений Бестужева, осуществленное в 1838 году, до сих пор было единственным и, несмотря на его недостатки, служило источником неоднократных перепечаток в позднейших

изданиях сочинений Бестужева.

В настоящем издании стихотворений наряду с повестью «Андрей Переяславский» объединено свыше 50 стихотворений (т.е. дано свыше 20 новых стихотворений, отсутствовавших в изд. 1838 г.), кроме того, стихотворения, извлеченные из писем Бестужева и его прозаических произведений (те стихотворения, которые органически связаны с прозаическим текстом, выделены в особый отдел), агитационные песни, созданные совместно с Рылеевым, и, наконец, прозаический перевод поэмы М. Ф. Ахундова «На смерть Пушкина». В приложении даны три знаменитых критических обзора Бестужева в «Полярной звезде на 1823, 1824 и 1825 годы».

Автографы стихотворений Бестужева дошли до нас в очень незначительном количестве, однако всё известное нам, равно как и авторитетные копии (см. «Архив Бестужевых» в Институте литературы Академии Наук СССР и собрание бестужевских бумаг

в Гос. ленинградской публичной библиотеке), учтено при подготовке текста к печати и оговорено в примечаниях.

Стихотворения, автографы которых дошли до нас, печатаются по автографам, большинство же стихотворений, за отсутствием автографов, — по тексту первых публикаций. В тех случаях, когда стихотворения, опубликованные при жизни Бестужева в журналах, были перепечатаны затем с изменением текста в XI части Полного собрания сочинений, — за основу взят текст этого последнего издания, а варианты журнального текста отмечены в примечаниях. Исключения сделаны для стихотворений «Череп», «Тост» и «Часы», которые даны по первопечатному, более полному тексту сравнительно с текстом XI части Собрания сочинений. Точно так же по первопечатному (журнальному), более полному тексту дано «Несколько слов от сочинителя повести «Андрей Переяславский». Стихотворения расположены (насколько это возможно было установить) в хронологическом порядке.

Даты, установленные редактором настоящего издания, заключены в угловые скобки; даты, заимствованные из XI части Полного собрания сочинений Бестужева, заключены в квадратные скобки.

Орфография и пунктуация даны современные.

В настоящее издание не включены: детское стихотворение Бестужева «Летит Борей» (см. «Архив Бестужевых», № 5573, лл. 87—88); черновики его незаконченных стихотворений и наброски—«Вечерел в венке багряном», «И вздыхая песней чудной», «Отвечает горд и весел», «Но ты, как ангел-истребитель», «По берегам Стикса» («Архив Бестужевых», № 5576, лл. 13—14); стихотворные эпиграфы к повестям и небольшие стихотворные вставки, встречающиеся в повестях и письмах (см., напр., несколько стихотворных строк в повести «Наезды» в «Сыне отечества» 1831, т. XVIII, № 14, стр. 386—387; в письме к Н. А. Полевому от 26 янв. 1833 г.— «Русский вестник» 1861, апрель, стр. 429—430 и др.).

Как не припадлежащие А. Бестужеву в издание не вошли: 1) стихотворение «К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила» («Сыи отечества» 1822, ч. 76, № 10, подп. А. М.), приписанное Бестужеву С. Пономаревым («Сборник Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук», т. 44, стр. 5), но находящееся в противоречии с известной нам оценкой Бестужева первой пушкинской поэмы (см. письмо Бестужева к сестре от 27 окт. 1820 г. в сб. «Памяти декабристов», т. І, Л., 1926, стр. 20); 2) песня «Что не ветер шумит во сыром бору», дума «Прокаженный» и «Утренняя песнь (Из Кампе)», опубликованные с именем А. Бестужева в «Собрании стихотворений декабристов», Лейпциг, 1862, стр. 183—187. Последние два стихотворения совершенно не соответствуют стилистической манере Бестужева, а никаких доказательств принадлежности их Бестужеву у нас нет. Песня «Что не ветер шумит во сыром бору» принадлежит Мих. А. Бестужеву (см. «Былое» 1907, кн. VIII, стр. 27—28).

Не вошли в настоящее издание также три стихотворения, напечатанные в «Благонамеренном» 1818 г.: 1) «Извещение (Из Парни)» — ч. I, № 3, стр. 291; 2) «Беспечный» — ч. I, № 3; 3) «Завтра — к Лиле (Из Парни)» — ч. II, № 4, стр. 12. На принадлежность этих трех стихотворений Бестужеву указал М. П. Алексеев в примечаниях к брошюре «Поэты-декабристы» (Одесса, 1921,

стр. 35). Первое и третье стихотворение имеют подпись в журнале: «Б.....в» и «Ал. Бе....в», но второе стихотворение подписано: «Ал...ей Бе...жев». Если второе стихотворение явно не принадлежит Александру Бестужеву, то и принадлежность сму первого и третьего становится более чем сомпительной. Помимо того, сам Бестужев в прощении, адресованном в Цензурный комитет об издании журнала «Зимперла», отметил, что стихотворение «Лух бури» является его первым печатным произведением (см. «Русскую старину» 1900, авг., стр. 391). Указанные же стихотворения в «Благонамеренном» 1818 г. появились в свет раньше «Духа бури» на четыре месяца. Следовательно, Александру Бестужеву они, видимо, не принадлежат. Вряд ли также есть основания для включения в собрание стихотворений Бестужева четверостишия, написанного на экземпляре «Полярной звезды», принадлежавшем отцу П. В. Быкова. См. мемуары П. В. Быкова «Силуэты палекого прошлого», М.—Л., 1930, стр. 31.

Все тексты настоящего издания подготовлены к печати покойным знатоком и исследователем А. Бестужева Г. В. Прохоровым. Применания, составленные Г. В. Прохоровым и заключавише в себе исключительно справки об автографах и первопечатных текстах, дополнены необходимыми фактическими и историко-литературными поясмениями. За некоторые указания редактор признателен М. П. Алексееву и Г. А. Гуковскому.

стихотворения:

Дух бури (Из Лагарпа). Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1818, ч. 47, № 31 (деня, разр. 3 августа), стр. 228—229, с подписью А. Бес—ж—в. В Полное собр. соч. не вошло. Автограф не сохранился.

Стакотворение Бестужева, первое из его печатных произведений, представляет собой перевод «Оды о навигации», которая была опубликована в комментариях к французскому переводу поэмы «Дузпада» Камоэнса, сделанному Лагарпом.

К Куреницынуу. Печатается впервые по автографу в делах прхива Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (по оп. 214; фундам. биб-ка Лен. гос. университета). Подпись: А. Б.

Адресатом стихотворения является Алексапдр Николаевич Креницын (1801—1865), приятель Бестужева и Баратынского, поэт и вольнодумед, воспитанник Пажеского корпуса, разжалованный в 1820 г. в рядовые за участие в так называемом Арсеньевском бунте пажей. См. о нем «Алфавит декабристов» («Восстапие декабристов», т. VIII, Л., 1925, стр. 104); «Воспоминания Бестужевых», М., 1931, стр. 295 и статью М. И. Семевского «А. Креницын, гр. Я. Ростовдев и Сохоловский» в «Отечественных записках» 1865, авг., кн. 2, стр. 285—299. Ср. еще статью И. Н. Медедевой «Ранний Баратынский» в первом томе Полного собр. стихотворений Е. А. Баратынского, Л., 1936, стр. ХХХІХ—ХІ.

Люстр (латинск.) — пять лет. Эпикурейские мотивы послания восходят к лирике Горация. Ср., например, знаменитую формулу

Горация из оды «К Левконое» — «сагре diem» («лови день», пользуйся мгновением).

Подражание первой сатире Буало. Печатается по копии, сделанной Ел. А. Бестужевой («Архив Бестужевых», № 5580, лл. 7—9). Впервые напечатано в «Литературном архиве», І. М.—Л., 1938. стр. 411-414 (по писарской копии. хранящейся в Гос. публ. биб-ке и ошибочно принятой за автограф Бестужева). Стихотворение было прочитано и одобрено на собрании Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств в начале 1820 г., но, видимо, не прошло через цензуру и оказалось ненапечатанным. Весьма сочувственный письменный отзыв о стихотворении, сохранившийся в делах архива Вольного об-ва (по оп. 161; фундам. биб-ка Лен. гос. университета), принадлежал А. Х. Востокову. Бестужев отбросил начало знаменитой первой сатиры (1660) Буало, опустил личные намеки и приурочил сатиру к русской современности, перенеся действие из Парижа в Петрополь (Петербург). Тит (79-81 н. э.) римский император, популярный мягкостью правления; именем Тита часто называли Александра I, которого имеет в виду и Бестужев. Графов — граф Д. И. Хвостов (1757—1835), сенатор, поэт и переводчик, чье имя стало синонимом бездарного метромана. Графовым называл Хвостова и Пушкин в послании «К другу стихотвориу» (1814) и других стихогворениях. Нинон — Нинон де Ланкло (1615—1705) французская красавица, знаменитая своим литературным светским салоном и в то же время своими любовными похождениями. Веста (лат.) — богиня целомудрия. «И лучший эдесь поэт, честь русского народа» — В. А. Жуковский, автор «Певца во стане русских воинов» (1812) и знаменитого послания «Императору Александру» (1815).

Отрывок из комедии «Оптимист». Впервые напечатано в «Сыпе отечества» 1819, ч. 52, № 10 (ц. р. 8 марта), стр. 180—181, с подписью: А. Б. Перепечатано без изменений в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 110—113. Автограф не сохранился.

Произведение Бестужева отнюдь не является «отрывком», а представляет собой законченный философский диалог, варьирующий мотивы диалогов Альцеста и Филинта в «Мизантропе» Мольера и, в особенности, тех же Альцеста и Филинта в комедии Фабр д'Эглантина «Филинт Мольера, или продолжение Мизантропа» (1790). Крутон — имя мизантропа Альцеста в русской передаче знаменитой комедии Мольера.

К некоторым поэтам. Впервые напечатано в «Благонамеренном» 1820, ч. Х. № 7, стр. 56—58, с подписью «А. Ма — ий» и с примечанием: «Читано в собрании С.-Петербургского Общества любителей словесности, наук и художеств 8 ч. сего апреля». Перепечатано без изменений в Полном собр. соч., ч. ХІ, СПБ., 1838, стр. 107—109. Автограф не сохранился.

«Бутят» — от глагола «бутить» — заваливать яму, ров.

Шарады («Часть первая моя в турецкой стороне...» и «Лишенный головы, ни рыба я, ни эверь...»). Впервые напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения» 1819,

ч. VIII, № 10, стр. 87, с подписью: А. Б. В Полное собр. соч. не вошло. Автограф не сохранился. О принадлежности шарад Бестужеву см. в собственноручном его перечне, приложенном к письму от 1 мая 1831 г. сестре Елене («Архив Бестужевых», № 5581, л. 168). Разгадка шарад: 1) Агафон, 2) Арак и дурак.

«Себе любезного ищу...». Печатается впервые по копии, сделанной Ел. А. Бестужевой («Архив Бестужевых», № 5580, л. 6). «Щепят» (ср. щепетильник, щепетко) — украшают.

«Блия стана ю но ша прекрасный...». Печатается впервые по копии, сделанной Ел. А. Бестужевой («Архив Бестужевых», № 5580, л. 7).

Эпиграммы («Как Нина хорошо скрывает...» и «По городу молва несется...»). Впервые напечатано в «Благонамеренном» 1820, ч. ІХ, № 6, стр. 422 с подписью: А. Мар...ий. В Полное собр. соч. пе вошло. Автограф не сохранился.

Обитель сна (Подражание Овидию). Впервые напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения» 1820, ч. XII, № 11, стр. 201—202, с подписью: А. Бестужев. В Полное собр. соч. не вошло. Автограф не сохранился. Вольный перевод отрывка из XI книги «Метаморфоз» Овидия (стихи 592—615). За год до Бестужева перевод всего мифа, вошедшего в XI книгу «Метаморфоз», дал Жуковский, — см. «Цеикс и Гальциона (отрывок из Овидиевых превращений)».

Жуковского. В Эпиграмма на Полное собр. соч. не вошло. Печатается по тексту «Стихотворений А. С. Пушкина, не вошедших в последнее собрание его сочинений. Дополнение к 6 томам петербургского издания», Берлин, 1861, стр. 105. В качестве принадлежащей Пушкину эпиграмма впервые была напечатана в названном издании запрещенных в России пушкинских стихотворений, выпущенных Русским (Н. В. Гербелем). Пушкину эпиграмма приписывалась также В. П. Гаевским в статье «Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения» («Современник» 1863, № 8, стр. 363). Вслед за В. П. Гаевским эпиграмму приписывали Пушкину М. М. Попов («Русская старина» 1874, № 8) и А. И. Кирпичников («Русская старина» 1897, № 2, стр. 275); ср. справку Н. О. Лернера в изд. «Пушкин и его современники», вып. VIII, 1908, стр. 27.

Н. И. Греч в мемуарах об А. Ф. Воейкове («Русская старина» 1874, № 3) утверждал, что автором эпиграмм был Булгарин, что эту эпиграмму прочел Жуковскому Воейков и что будто бы Жуковский после этого говорил Гречу: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своею эпиграммою; я во дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочитал мне эпиграмму с невыразимым восторгом». В примечании к этому месту своих мемуаров Греч полностью привел текст эпиграммы, добавив при этом: «По отвывам некоторых лиц, это эпиграмма Пушкина, а по другим — Воейкова» (Н. И. Греч.

Записки о моей жизни, 1930, стр. 657). То, что Жуковский действительно слышал какую-то эпиграмму от Воейкова, подтверждается письмом А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 22 мая 1825 г., где упомянуто о «мерякой эпиграмме на чистого и чувствительного Жуковского» и о том, что Воейков «с торжеством поспешил первый прочесть эту эпиграмму Жуковскому» («Остафьевский архив», т. III, стр. 127—128).

На принадлежность эпиграммы Ал. Бестужеву впервые и притом совершенно определенно указал М. А. Бестужев, включивший эпиграмму (с пропуском 3-й и 5-й строки и некоторыми разночтениями) в текст своих мемуаров. «Помню, как зашла речь о Жуковском, — писал М. Бестужев, — и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления, неприметно, перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма, и наконец брат Александр, при шуме возгласов и хохота, редижировал известную эпиграмму, приписанную впоследствии А. Пушкину:

Из савана оделся он в ливрею, На пудру променял свой лавровый венец, С указкой втерся во дворец, И там, пред знатными сгибая шею, Он руку жмет камер-лакею...

Бедный певец!..

См. «Русскую старину» 1870, № 6, стр. 521; ср. «Воспоминания Бестужевых», М., 1931, стр. 130. За то, что автором эпиграммы был не Пушкин, а Ал. Бестужев, высказался в старости и П. А. Вяземский, сделавший к эпиграмме, перепечатанной в книге «Стихотворений А. С. Пушкина, не вошедших в последнее собрание его сочинений» (2-е изд., Берлин, 1870), следующую собственноручную пометку: «Не Пушкина, а Александра Бестужева, что подтверждается братом его в Русской старине Семевского» («Старина и новизна», кн. 8, М., 1904, стр. 37).

Эпиграмма представляет собой пародию на стихотворение Жуковского «Певец» (1811). Приводим первое восьмистишие:

В тени дерев, над чистыми водами Дерновый холм вы видите ль, друзья? Чуть слышно там плескает в брег струя; Чуть ветерок там дышит меж листами; На ветвях лира и венец... Увы! друзья, сей холм — могила; Здесь прах певца земля сокрыла; Бедный певец!

В стихотворении, представляющем собой пародию на балладу Жуковского «Иванов вечер» («Замок Смальгольм»), вероятно, имеется в виду поэма Рылеева «Войнаровский», которая была посвящена Бестужеву и которую он очень ценил. — см., например, сочувствентую оценку поэмы в письме Бестужева к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г. («Старина и новизна», кн. VIII, М., 1904, стр. 31) и восторженное упоминание о поэме в «Полярной звезде на 1825 г.» (см. 186 стр. наст. изд.).

П. А. Плетнев (1792—1865) — друг Пушкина и Дельвига, поэт и критик, не сочувствовавший направлению творчества Рылеева. «Историю никак не уломаешь в лирическую пьесу, — писал Плетнев Пушкину 22 янв. 1825 г., — Рылеев это прежде всего доказал своими

Думами» (Переписка Пушкина, т. I, СПБ., 1906, стр. 167).

Саатырь (Якутская баллада). Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1831, т. XIX, № 18, стр. 205—211, с подписью: А. Б. Перепечатано без изменений в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 114—119 и 164. Автограф не сохранился.

И менинику. Впервые напечатано по копии, снятой шт.-кап. Степановым с автографа, принадлежавшего Губареву (Николаевск на Амуре), в «Сборнике историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах», т. І, СПБ., 1875—1876, стр. 41—42. В Полное собр. соч. не вошло. Последние 12 строк стихотворення, исключенные в названном сборнике, как «невозможные для печати», публикуются впервые по копии писарской руки, хранящейся в Лен. гос. публ. биб-ке, — «А. А. Бестужев-Марлинский. Разные статьи», л. 33. Нынешнее местонахождение автографа неизвестно.

Стихотворение обращено к управляющему откупом в Якутске Федоту Федотовичу Колосову. «Он служил предметом постоянных насмешек Бестужева», — сказапо в примечании, сделанном редакцией названного выше сборника. Стихотворение заканчивалось следующим прозаическим post-scriptum'ом Бестужева: «Я надеюсь, вы извините меня, что я не приду сегодня поздравить Вас лично.

Причины Вам известны. Ваш искренно А. Бестужев».

(Надпись над могилой Михалевых в Якутском монастыре). Впервые по сообщению М. И. М(уравьева) А(постола) напечатано в «Библиографических записках» 1861, т. III, № 14 (ноябрь), столб. 417—418. Перепечатано в «Собрании стихотворений декабристов», Лейпциг, 1862, стр. 187—188. В Полное собр. соч. не вошло. Декабрист М. И. Муравьев-Апостол, рассказывая о своей ссылке в Сибирь и о приезде в Якутск, где он уже не застал Бестужева, сообщает: «От нечего делать я вздумал ознакомиться с местностью и зашел в монастырскую ограду, где кладбище прилегало к церкви, и заметил на одной гробнице надпись в несколько строк. Я прочел эту надгробную эпитафию, и стихи мне так понравились, что я тут же их списал. Стихи, написанные следовал текст стихотворения, сопровожденый датой: «Якутск, 1828 года. Скончались Михалевы». См. «Русскую старину» 1886,

№ 9; перепечатано в «Воспоминаниях и письмах» декабриста М. И. Муравьева-Апостола, П., 1922, стр. 70.

Череп. Впервые напечатано в «Невском альманахе на 1830 г.», изд. Е. Аладьина, стр. 342—344; вместо подписи в оглавлении— *. Перепечатано в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 125—126, без эпиграфа. Автограф не сохранился.

Варианты текста Полного собр. соч.:

- 6. Над океаном правды зыбкой
- 7. Привет ли мне, иль горестный ответ
- 15. Венок понятия увял

Перевод эпиграфа: «Что кочешь сказать ты мне, пустой череп, скаля на меня свои зубы? Не то ли, что, подобно мне, моэг твой смущенно искал лучшего и, теряясь в потемках, жалким образом заблуждался в жадном стремлении к истине!» («Фауст», трагедия Гете. В пер. А. Л. Соколовского, СПБ., 1902, стр. 25).

Посылая стих. «Череп» в числе других своих стихотворений Ел. Ив. Булгариной, Бестужев писал ей 10 июня 1828 г. из Якутска: «... Череп, я думаю, найдет немногих читателей: этот род размышлений требует и в самом чтеце особое расположение к глубокомыслию и особенное просвещение, ибо отвлеченные предметы ловятся не ушами, а душой. К тому же надобен и приученный к романтизму вкус, которого вовсе не замечаю я в русских, потому что Пушкин, бог моды настоящего, весьма мало имеет в себе идеального, т. е. романтического». («Памяти декабристов», т. II, Л., 1926, стр. 206). Через полгода Бестужев послал стих. «Череп» матери и сестре. «При сем прилагаю два стихотворения Череп и Тост для продажи в печать», — писал он им 25 февраля 1829 г. из Якутска (там же, стр. 220). И в тот же день Бестужев писал братьям: «Теперь посылаю к матушке два стихотворения, Череп и Тост. Первый — метафизика, мистическая шарада, которой я и сам не могу разгадать. Эпиграф его из Гете; другой — сон небывалого счастья» («Русский вестник» 1870, май, стр. 251).

Ю ность (Подражание Гете). Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 146 (датировано 1828 г.). Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1831, т. XIX, № 19, стр. 281, без заглавия с подзаголовком «Из Гете», вместе со стих. «Магнит» (см. ниже), с подписью: А. Б. Автограф не сохранился.

Вариант журнального текста: 2. По горам и по долам.

Общую оценку переводов Бестужева из Гете см. в кн. В. М. Жирмунского «Гете в русской литературе», Л., 1937, стр. 127 и 147.

Магнит (Из Гете). См. примечание выше. В Полное собр. соч. не вошло.

Всегда и везде (Из Гете). Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 145. Впервые напечатано в «Сыпе отечества» 1831, т. XIX, № 22, стр. 116, под заглавием «Каждому свое» и с подписью: А. Б. Автограф не сохранился.

Перевод стихотворения Гете «Immer und Überall».

В письме к Н. А. Полевому из Дербента от 9 июля 1831 г. Бестужев сообщал: «В Сыне отечества по временам печатаются мои стиховные грехи, но от опечаток и в прозе и в виршах житья нет. В одной пиесе, например, в 22-м №, вместо: «В небе свит туманов хор», поставлено: В небе свист, туманов хор. Ник. Ив. (Греч), кажется верует, что в поэвии не должно быть смыслу, и потому какую бы чепуху ни наврал корректор, он не заглянет в рукопись» («Русский вестник» 1861, март, стр. 302). Опечатка, указанная Бестужевым, относится к комментируемому стихотворению. В тексте Полного собр. соч. опечатка исправлена.

Из Гафиза. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 149 (датировано 1828 г.). Автограф не сохранился.

Перевод стихотворения Гете «Lass deinen süssen Rubinenmund...»

(West-Oestlicher Divan. Buch Suleika).

Из Гете (с персидского) («Пейте, самых лет весна!!»). Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. I, 1838, стр. 143 (датировано 1828 г.). Автограф не сохранился.

Перевод стихотворения Гете «Trinken müssen wir» (West-Oest-

licher Divan. Schenkenbuch).

Из Гете (Подражание) («Как често, милое дитя...»). Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 144 (датировано 1828 г.). Автограф не сохранился.

Перевод стихотворения Гете «Nähe».

Зюлейка. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 148 (датировано 1828 г.). Автограф не сохранился.

Перевод стихотворения Гете «Suleika. Nimmer will ich dich verlieren...» (West-Oestlicher Divan. Buch Suleika).

С персидского. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 147 (датировано 1828 г.). Автограф не сохранился.

Перевод стихотворения Гете «Bist du von deiner Gelichten

getrennt» (West-Oestlicher Divan. Buch Suleika).

Ей. Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 142 (датировано 1828 г.). Впервые напечатано в «Сынс отечества» 1831, т. XX, № 24, стр. 246, под заглавием «Нине» вместе со стих. «Дождь» (см. ниже) с подписью: Id.

Варианты журнального текста:

- 4. И серебрат и золотит
- 7. Так солнце падает беззнойно
- 8. На лоно дышащее вод.

Алине. Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 152—153. Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1829, т. IV, № 21, стр. 47—48, без подписи и даты. Автограф не сохранился. Варианты журнального текста:

19. Оковы праха разреша.

27. Забвенья горестей вемных

В журнальном тексте строка точек (после 16 строки) отсутствует. В Полном собр. соч. стихотворение ошибочно датировано 1829 г. В письме из Якугска 25 января 1829 г., при посылке матери и сестре двух своих стихотворений — «Финлиндия» и «Алине» — Бестужев замечал, что «1-е написано ныне, 2-е давно» («Памяти декабристов», т. II, Л., 1926, стр. 218). Поскольку стих. «Финляндия» точно датировано 16 января 1829 г., постольку стих. «Алине» может быть отнесено к 1828 г.

Перевод из «Фауста» Гете. Печатается с автографа, хранящегося в «Архиве Бестужевых», № 5580, лл. 62—63. Впервые

напечатано в «Русском вестнике» 1861, март, стр. 302.

Четверостишие, представляющее собой довольно точный перевод первых строк монолога Фауста (см. «Фауст» Гетс, ч. I, сц. 2), включено Бестужевым в его письмо к братьям из Якутска 9 декабря 1828 г. «Я теперь плотно принялся за германизм, — писал Бестужев, — на днях кончил Валленштейна, и теперь ломаю голову над Фаустом. Если бы сию же минуту не набил я к перу оскомины рассуждением о них к матушке, то поскучал бы тем же вам; в этот раз однако ж баста о словесности, о науках». Далее следовал текст четверостишия и критические замечания Бестужева по поводу «Фсуста» Гете («Русский вестник» 1870, май, стр. 245). Через два с половиной года в письмо к Н. А. Полевому из Дербента 9 июня 1831 г. Бестужев включил то же четверостишие («Русский вестник» 1861, март, стр. 302).

Финляндия. Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 123—124. Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1829, т. III, № 20, стр. 373—374, с подписью: А. Б. Автографие сохранился.

Варианты журнального текста:

15. Вздремала тень в величии угрюмом

18. Как радуги летят ключи игривы.

25 января 1829 г. Бестужев писал из Якутска матери и сестре: «При сем письме прилагаю два стихотворения: Финляндия в Алине. 1-е написано ныпе, 2-е давно. Финляндия (если гремушки самолюбия ве заглушают критики смысла), кажется, имеет некоторое достоинство» («Памяти декабристов», т. II, Л., 1926, стр. 218). Ср. упоминание о стих. «Финляндия» в письме Бестужева братьям 25 января 1829 г. («Русский вестник» 1870, май, стр. 250).

Стихотворение посвящено Арсению Андреевичу Закревскому, генерал-губернатору Финляндаи. О блягожелательном отношении А. А. Закревского к депабристам и, в частности, к Бестужеву в пору их заключения в крепости «Форт Слава» (Роченсальм — Финляндия) см. в «Запвеках» И. Д. Якушкина, изд. 3-е, СПБ., 1905.

стр. 123.

Тост. Впервые напечатано в «Невском альманахе на 1830 г.», вэд. Е. Аладьния, стр. 287—290, без подписи. Перепечатано в Пол-

ном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 157—159, с пропуском стихов 28—31 и с вариантом 61-го стиха (вместо «Звездные цветы» — «Радости цветы»). Сохранилась часть автографа, начиная со стиха «Будут искренностью мирной» в «Архиве Бестужевых», № 5577, л. 1. См. примечание к «Черепу».

Осень. Печатается по тексту автографа, хранящегоств «Архивее Бестужевых», № 5577, лл. 2—5. Вошло в Полное собр. сеч., ч. ХІ, 1838, стр. 161—163. Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1831, т. ХІХ, № 17, стр. 161—163, с заглавием «Каспийское море. Элегия» и с подписью «Пагестан».

В день имении Ал. Ив. М.,....й. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 129—134, с датой: 1828 г. Сохранилась неполная копия стихотворения, сделанная сестрой Бестужева, начиная со слов «Примите ж благосклонно» и с датой: 1829 г., мая 18 (Гос. публ. биб-ка, «Разные статьи», л. 33).

Адресат послация не установлен.

Шебутуй (Водопад Станового хребта). Печатается по автографу, хранящемуся в «Архиве Бестужевых», № 5577, лл. 5—6, с датой: 1829, май. Вошло в Полное собр. соч., ч. ХІ, 1838, стр. 120—122. Впервые напечатало в «Московском телеграфе» 1831, ч. ХХХІХ, № 12, стр. 425—426, с подписью: * 1829. Иркутск. В мае 1829 г. Бестужев еще не был в Иркутске; очевидно, сбозначение места написания стихотворения ощибочно было подставлено редактором журнала.

Варианты журнального текста:

Шебутуй (Водопад Саянского хребта)

- 1. Стенай, реви, поток пустынной,
- 2. Неукротимый Шебутуй,
- 3. Сверкай от высоты стремнинной
- 4. И кудри пенные волнуй!
- 5. В гранитной зыбля колыбели,
- 6. На лоне тающих громад,
- 7. Туманы, тучи и метели
- 8. Тебя перунами поят... 17. И над тобой краса природы:
- 18. Полувоздушных перлов мост
- 19. Сгибает радужные своды,
- 20. Блестя, как райской птицы квост;

Последней строфы в журнальном тексте нет.

Лиде. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 154—155 (датировано 1829 г.). Автограф не сохранился.

Равлука. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 150—151 (датеровано 1829 г.). Автограф не сохранился.

Пресыщение. Впервые напечатано в Полном собр. соч., XI, 1838, стр. 156 (датировано 1829 г.). Автограф не сохранился.

Е. И. Б (улгари) ной (В альбом). Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 133—135 (датировано 1829 г.). Автограф не сохранился.

Стихи посвящены Елене Ивановне Булгариной, жене Ф. В. Булгарина и кузине Бестужева, которой он посылал стихи из Якутска.

См. «Памяти декабристов», т. II, Л., 1926, стр. 206-207.

Часы. Впервые напечатано в «Литературной газете» 1830, № 27 от 11 мая, стр. 213, без подписи. Вошло в Полное собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 127—128 без последних трех строк (датировано 1829 г.). Автограф не сохранился.

Сон. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 160—162 (датировано 1829 г.). Автограф не сохранился.

К облаку. Печатается по тексту автографа, хранящегося в Гос. публ. биб-ке. Подпись: А. Б. Дата: 1829. Якутск. Впервые напечатано в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 139, под заглавием «Облако» с изменением ст. 8 («Ты прелестью природы») и с ошибочной датой: 1828 г.

Дождь. Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 140 (датвровано 1829 г.). Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1831, т. ХХ, № 24, стр. 246, вместе со стих. «Нине» (см. выше стих. «Ей»), с подписью: Іd. Автограф не сохранился. В журнальном тексте стихотворение разделено на четверостишия. Вариант журнального текста: 10. Капли пурпуром ражгла.

Оживление. Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 141 (датировано 1829 г.). Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1831, т. XX, № 22, стр. 115, под заглавием «Обновление» и с подписью: А. Б. Автограф не сохранился.

М. И. Муравьеву-Апостолу. В Полное собр. соч. не вошло. Впервые напечатано в книге П. М. Головачева «Декабристы», М., 1906, стр. 148—149. П. М. Головачев сообщает, что четверостишие Бестужева написано «в июле 1829 г. в Витиме». Возможно, что Бестужев написал четверостишие действительно в Витиме, когда ехал из Якутска в Иркутск, только не в июле, а в июне, так как 2 июня он уже выехал из Иркутска на Кавказ.

Муравлев-Апостол, Матвей Иванович (1793—1886), отставной полковник, один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, член Южного общества декабристов, автор воспоминаний. Отбывал тюремное заключение в крепости «Форт Слава» вместе

с Бестужевым.

⟨Из повести «Испытание»⟩. Печатается по автографу, хранящемуся в Лен. гос. публ. биб-ке. Впервые капечатано в «Сыно отечества» 1830, т. XIII, № 29.

Стихотворение написано под влиянием стихотворения Пушкина «Певец» (1816) («Слыхали ль вы за рощей глас ночной...»).

Приписки к богатому надгробию в бедности умершего поэта. Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1831. т. ХХ, № 24, стр. 245, с подписью: А. Б. В Полное собр. соч. не вошло. Автограф не сохранился.

Эпиграммы («Люблю я критика Василья...», «Клим верпами идей стихи свои назвал...», «Да, да, в стихах моих знакомых...»). Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1831, т. XX. № 24, стр. 246, с подписью: А. Б. В Полное собр. соч. не вошло. Автограф не сохранился.

Первая эпиграмма направлена, вероятно, на Василия Тимофес-Плаксина (1796—1869), литературного критика и педагога, в связи с напечатанием его статьи «Взгляд на состояние русской словесности в последнем периоде (Лекция из истории литературы)» в «Сыне отечества» 1829, тт. V и VI. Основным предметом статьи был разбор различных мнений о романтической поэзии, причем в итоге автор приходил к выводу, что «все мнения при всех недостатках более или менее полходят к истине».

Вторую эпиграмму предположительно относим к нашумевшему стихотворению С. П. Шевырева «Мысль», впервые появившемуся в «Московском вестнике» 1828, ч. VIII, стр. 357—358. Ср. С. П. Шсвырев. Стихотворения, Л., 1939, стр. 49 и 219. Приводим начальные строки стихогворения:

> Падет в наш ум чуть видное зерно И вреет в нем, питаясь жизни соком; Но придет час — и вырастет оно В создании иль подвиге высоком.

Третья эпиграмма является несомненным откликом на стихотворение Пушкина «Собрание насекомых», впервые увидевшее свет в альманахе «Подснежник на 1830 год» и напечатанное также в «Литературной газете» 1830, т. II, № 43, июля 30, стр. 56.

Ответ. Печатается по автографу, хранящемуся в Гос. публ. биб-ке. Впервые напечатано в «Московском телеграфе» 1831, ч. X, № 16, стр. 457-458, с подписью: А. М. В Полное собр. соч. не вошло.

Шестистишие первоначально включено было Бестужевым в его письмо к Н. А. Полевому от 13 августа 1831 г. из Дербента. Делясь с Полевым своими впечатлениями от только что прочитанного «Бориса Годунова» Пушкина, Бестужев писал: «В других стихотворцах не вижу ничего хорошего особенно. Гладкие стихи, изредка чужая мысль, и та причесана, завита так, что боже упаси! (Дадее следовал текст шестистишия. У Та беда еще, что не выбирают хорошего для подражания. Дались им Уланды, Ламартины, как будто на свете не существует ни Шекспира, ни Шиллера, ни Данте, ни Байрона» («Русский вестник» 1861, март, стр. 304—305).

Шестистишие направлено против второстепенных поэтов, подражающих плохим западным образцам и не ищущих самобытных на-

пиональных путей развития русской поэзии.

⟨Из повести «Аммалат-бек»⟩. Печатается по автографу, хранящемуся в Лен. гос. публ. биб-ке. Впервые напечатано в «Московском телеграфе» 1832, ч. XIII, № 2, стр. 187—188 и 199—200.

Портам архипелага нелепостей в море пустоввучия. Печатается по автографу, хранящемуся в Гос. публ. биб-ке. Впервые напечатано в «Московском телеграфе» 1832, ч. XIV, № 8, стр. 494, с подписью А. М. В Полное собр. соч. не вошло.

Восьмистишие первоначально включено было Бестужевым в его письмо к Н. А. Полевому от 1 января 1832 г. из Дербента. «Надо бы подарить сережки и сестрице, нашей поэзии (она же, бедняжка, право, дура бессережная), — писал Бестужев, — да та беда, что для ее испанских титулов, С Шевырев, Е Кугушев, Е Трилунный, еtс., еtс., еtс., еtс., нет у меня места: это совершенно Крысий Архипелаг нелепостей в море пустозвучия. Как читаешь раздирающие жизнь (а не редко и ухо) их стихотворения, так и хочется сказать: (далее следовал текст восьмистишия). Впрочем, в Шевыреве водятся иногда мысли, в Трилунном — чувства, но это так редко или так ветхо! Прочих поэтов не помню даже имен; они все, кажется, берут на прокат стоптанные туфли Пушкина». («Русский вестник» 1861, март, стр. 318—320).

«Я ра морем, васинею далью...». Печатается по тексту Полного собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 163 (с датой 1834 г.). Впервые напечатано в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» 1838, № 12 (п. р. 28 марта 1838 г.), стр. 230, с заглавием «Мечта» и за подписью: А. Марлинский. Автограф не сохранился.

Забудь, вабудь. Кн. Н. У***. Впервые напечатапо в «Пантеоне русского и всех европейских театров» 1840, ч. I, стр. 40, за подписью: А. Марлинский. В Полное собр. соч. не вошло.

«И з повести «Мулла-Нур»
Впервые напечатано в «Библиотеке для чтения» 1836, т. XVII, стр. 64. Автограф не сохранился.

«Плывет по морю...». Печатается по копии, сделанной Ел. А. Бестужевой («Архив Бестужевых», № 5580, л. 181). Впервые напечатано в «Сыне отечества» 1838, т. І, стр. 150—153, с подписью: ***. В Полное собр. соч. не вошло.

АНДРЕЙ, КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ. ПОВЕСТЬ

Несколько слов от Сочинителя повести: Андрей, Князь Переяславский. Впервые опубликовано в «Московском телеграфе» 1832, № 6, март, стр. 293—300. Перепечатано в качестве предисловия к повести в Полном собр. соч., ч. XI, 1838, стр. 7—17, с некоторыми цензурными и редакционными сокращениями и примечанием от издателя. Вместо фразы: «его-то избрал я козлом грехоносцем; на него-то навыочил все грехи своего поэтического Израиля» напечатано: «его-то избрал я моим героем; он-то должен был взять на себя все опибки воспоминания». Вместо: «Я отдал одной душевно уважаемой мною знакомой даме» — «Я от-

дал одной душевной уважаемой мною особе». Целиком опущено авторское примечание, где приведен пример одной типографской ошибки. Вместо: «Что повесть сия напечатана не только без моего ведома» и т. д. до конца предисловия— «что повесть сия напечатана без моего ведома». Примечание от издателя гласит следующее: «Автор, к сожалению, не оставил после себя никаких отметок, по которым бы можно было исправить ошибки, вкравшиеся при первом издании сей повести». Автограф «Нескольких слов от Сочинителя» не сохранился.

Поводом для написания «Нескольких слов» явилось появление в свет без ведома Бестужева второй главы «Андрея Переяславского» в качестве приложения к № 42 «Галатеи» за 1830 г. (см. ниже). «Охотно, но неожиданно, пишу к вам, почтеннейший Николай Алексеевич, — писал Бестужев из Дербента 12 февраля 1831 г. редактору «Московского телеграфа» Н. А. Полевому. — Тому виной 2-ая глава Андрея Переяславского, напечатанная без воли моей. В придагаемом оправлании прочтете искреннее мое признание. каким образом я написал ее; но кто ее напечатал — до сих пор не только не могу дознаться, но даже догадаться. Если можете, иоясните мне дело. Он написан был в 1827 году, в Финляндии, где у меня не было ни одной книги: написан был жестяным обломком, на котором я зубами сделал расшеп, и на табачной обвертке, по ночам. Чернилами служил толченый уголь. Можете судить об отделке и вдохновении! Апелляцию мою напечатайте поскорее, и не в счет абонемента — это мое, не ваше дело» («Русский вестник» 1861. март, стр. 293).

История создания и появления в свет «Андрея Переяславского», рассказанная в «апелляции» Бестужева, может быть уточнена и дополнена на основе дошедших до нас свидетельств и документальных данных.

После приговора Верховного уголовного суда Бестужов вместе с некоторыми другими декабристами 17 августа 1826 г. был направлен в Роченсальм (Финляндия) и заключен в крепость «Форт Слава». Здесь он пробыл до октября 1827 г., отправившись затем в ссылку в Якутск. Декабрист И. Д. Якушкин, который находился в крепости вместе с Бестужевым, свидетельствует в своих записках: «Бестужев в это время пытался писать на клочках бумаги повесть в стихах из времен вссьма древних русской истории, «Андрей Переяславский». Археологические его познания были не общирны слог его был вял, и повесть вообще не удалась. За критику его скороспелого произведения он не сердился, но впрочем защищал его усердно...» (Записки И. Д. Якушкина. Изд. 3-е. СПБ., 1905, стр. 124). Отправляясь в сибирскую ссылку, Бестужев передал черновик двух глав «Андрея Переяславского» «знакомой даме», через которую повесть, видимо, стала известна и другим лицам. В 1828 г. вышло из печати отдельное издание первой главы «Андрея Переяславского» (М., в типогр. С. Селивановского, ц. р. 20 февраля 1828 г. Цензор Сергей Глинка) без имени автора и издателя, но с ложным заявлением: «Все пропуски в сем сочинения сделаны самим автором». Виновником издания книжки был, вероятно, чиновник следственной комиссии по делу декабристов, причастный также и к литературе, А. А. Ивановский (см. «Русская старина» 1888,

октябрь, стр. 153). Интересно, что еще до выхода книжки из печаги на страницах «Московского вестника» (1828, ч. VII, № 2, стр. 396) в отделе «Литературных новостей» появилось следующее объявление: «Нам обещают скоро национальную поэму неизвестного автора: Андрей Переяславский. В ней много мест живописных. красот истинно поэтических, иногда обнаруживающих перо вредое. Просим заранее читателей смотреть на нее без предубеждения, к которому, вероятно, приучили их наши неутомимые эпики». О выходе из печати первой главы своей повести Бестужев узнал по газетам довольно скоро. 10 июня 1828 г. он с возмущением писал об этом матери из Якутска: «Я право не знаю, в каком веке мы живем? Печатать вещь полную исторических и всяких ошибок, недоконченную, неполную, во многих местах без связи, одним словом, материал чего-то, а не сочинение - значит смеяться над сочинителем и обманывать публику». («Памяти декабристов», т. II, Л., 1926, стр. 205). Экземпляр вышедшей книжки Бестужев получил в Якутске почти через год (ср. упоминание об этом в письме к матери 25 апреля 1829 г. — «Русский вестник» 1870, май, стр. 258). а тем временем первая глава «Андрея Переяславского» была обсужлена в журналах.

«Надобно признаться, что издание одной главы сей поэмы вредит ее общности. — писал критик «Московского телеграфа». — Может быть впоследствии поэт оправдается во всем; но теперь мы видим что-то начатое не в большом порядке. Несообразностей довольно. Если Половны не играют какой-нибуль роли впоследствии. то их явление и встреча с Романом совсем лишние. Заговор открывается слишком театрально, в беседе боярина, и при том с его стремянным. Все явления перемешиваются с большою натяжкою: надобно было боярину ехать по Дунаю, чтобы высказать нам заговор и встретить своего сына с Романом; надобно было сыну тонуть. чтобы Роман мог спасти его, и через то успел познакомиться с боярином-заговорщиком; Роман должен после битвы с Половцами ехать непременно по Дунайскому берегу, чтобы спасти Световида: все это довольно несвязно, если подумаем при том о буре, которая явилась только для составления завязки. Впрочем, может быть, последующие песни оправдают план поэмы». Критик «Московского телеграфа» останавливался также и на «несообразностях» с исторической точки эрения. Он утверждал, что «кроме костюмов, имен и русских поговорок (которые взяты, впрочем, без всякого соображения к веку действия поэмы), мысли, разговоры и поступки героев поэмы почти все анахронизмы. Половец, выехавший на разбой (в зеленых туфлях!) говорит товарищу, как Мооров разбойник у Шиллера; другой отвечает ему, что он сменял раздольную жизнь на душность могильную городов; далее, половец, при воспоминании о жене и детях, плачет растроганный; русский воин идет задумавшись на древнее кладбище, размышляет о забвении, мечтает нач черепом и развалинами, говорит о бессмертии славы; русский гуслит поет песенку вроде французского рыцарского романса и ... и проч. Но несмотря на все сии недостатки, - заключал критик, -- мы замечаем во многих местах поэмы блестящие, яркие стихи; живые описания поражают читателя, и вообще, если бы не являлось излишнее желание поэта выискивать новые слова и щеголять странностью выражений, то по отделке стихотворной Андрея Переяславского можно бы причислить к отличным новейшим произведениям русской поэзии». («Московский телеграф» 1828, ч. 20, № 5, март, стр. 83—88).

Бестужев, имевший возможность ознакомиться с критикой «Московского телсграфа», был ею весьма недоволен. «Я читал в Телеграфе критику на князя Переяславского — она стоит Полевого. сообщал Бестужев из Якутска 25 июня 1828 г. матери. — В ней столько же логики, как и вкуса; он ценит лошадь по седлу, и не понимая ни чувства, ни мысли, занимается бирюльками, т. е. отделкою стихов. Впрочем, замечание о плане справедливо. Но можно ли судить о плане по вичьеткам, сшитым белыми нитками? Притом есть разные средства достигать цели. Есть пьесы, где главное состоит в ходе действия, есть другие, которые требуют только убеждения в мысли, которую автор хочет доказать — таковы пьесы Шекспира...» («Памяти декабристов», т. II, 1926, стр. 208). Неприемлемы для Бестужева были также упреки «Московского телеграфа» по поводу некоторых анахронизмов в его повести. В цитированном быше письме к H. A. Полевому от 12 февраля 1831 г., вспомнив рецензию «Московского телеграфа» на «Андрея Переяславского», Бестужев замечал: «Изучение одежд и оружий всех народов было моей любимою главою, и потому позвольте вам сказать, что вы напрасно дивились, что мои Половцы в Андрее Переяславском выехали на разбой в туфлях; обувь черкес и доселе не что иное. как туфли, и даже турецкие всадники, когда намереваются действовать пешком, то выезжают в туфлях...» («Русский вестник» 1861, март, стр. 295).

Первая глава «Андрея Переяславского», будучи издана анонимно, заставила гадать об авторе повести. Быть может, иные догадывались или знали, что автором был ссыльный декабрист Бестужев. Отсюда — особенная осторожность в оценке повести, отсюда возможно и то, что все критики, начиная с критика «Московского телеграфа», обходили ее идейное содержание. «Об Авторе этой повести в Москве ходят разные слухи, — писал критик «Московского вестника». — Мы, по нашему обыкновению, будем смотреть произведение, а не на лицо. Из первой главы, конечно, нельзя еще заключить ни о плане целого, ни о характерах действующих лиц, тем более, что в ней не видим еще самого героя поэмы: однако и в первой главе ясно обличается неопытный стихотворец, не без дарования, но не имеющий довольно силы, чтобы овладеть своим предметом, не искусный в приемах рассказа, излишне говорливый и часто безотчетный». Отметив «несообразность» в плане повести, критик «Московского вестника» приводил примеры неудачных и темных стихов, но выделял также и некоторые «новые и смелые выражения». «...В Андрее Переяславском пногда приметен плитический талант, но чаще отсутствует связь догическая» — таково было общее заключение критика («Московский вестник» 1828, № 11, стр. 298-304).

В «Обзоре российской словесности за 1828 год» О. Сомов счел нужным по поводу «Андрея Переяславского» особо подчеркнуть, что «этой повести напечатана только первая глава. Несмотря на некоторую небрежность слога, в сочинителе виден дар поэта, сила

воображения, уменье управляться е стихом и рифмою и знание старинного русского быта. По первой главе нельзя судить о целом сочинении: в ней поэт не успел еще развернуть ни характеров, ни происшествий; и может быть то, что кажется критикам неясным и несообразным в отрывке, покажется им яено и естественно в повести, когда она выйдет вполне. Трудно предупреждать догадками намерения автора; иногда, на эло догадливости своих критиков, он обдумывает свой предмет совсем иначе и смотрит на него соверершенно с другой точки, нежели та, которую они предполагали. Живость и верность списаний в 1-й главе Андрея Переяславского с избытком искупают легкие и немногие недостатки оной, как-то: («Северыме цветы на 1829 г.», СПБ, 1828, стр. 46—47).

В то время, как первая глава «Андрея Переяславского» обсуждалась в критике, Бестужев, находясь в Якутске на поселении, ше раз возвращался мыслью к своей незаконченной повести. «Бросия нам огложив Андрея, мне кочется попробовать себя в легком роде. именно в таком, как писан Дон Жуан», - сообщил Бестужев братьям 16 августа 1828 г. («Русский вестник» 1870. май. стр. 240-241). Более чем полгода спустя, 25 апреля 1829 г., получив печатный экземпляр «Андрея Переяславского», Бестужев писал матери: «За Андрея благодарю, он уже здесь; жалко и досадно видеть его в таком виде в печати. Не знаю когда, скрепя сердце, снова ва него приняться» (там же, стр. 258). Несколько ранее, 10 ноября 1828 г., Бестужев в письме к сестре признавалея: «Очень жалею об издании Андрея — это отбивает и впредь всякую охоту писать **жна** ветер. Пругие будут пользоваться плодами моих трудов и можно раскищать меня стих по стиху, строку по строчке, как это, вероятно, случилось со 2-ю песнею Андрея. Впрочем, это во всем моя участь», («Памяти декабристов», т. II, Л., 1926, стр. 213-214). Бестужев словно предвидел, что и «2-я песнь» «Андрея», подобно тервой, будет опубликована без его ведома. Так оно действительно пи случилось. Вторая глава повести увидела свет через три года после первой, в качестве приложения к 42-му номеру журнала С. Е. Ранча «Галатея» на 1830 г. (М., в типогр. С. Селивановского, п. р. 23 декабря 1830 г. Цензор Сергей Аксаков). Текст второй главы был сопровожден примечанием: «Все исключения сделаны сочинителем». Печатных откликов вторая глава не вызвала, но она явилась поводом для специальной «апелляции» Бестужева, направленной в редакцию «Московского телеграфа». Сопроводив эту «апелляцию» цитированным выше письмом к Н. А. Полевому с просьбой о напечатании «апелляции» в журнале, Бестужев приложил еще к лисьму два неопубликованных отрывка повести. «Если найдете лишний уголок, — писал он Н. А. Полевому, — приклейте два прилагаемые обрывка из Андрея; лучше заранее послужить ими доброму человеку, чем видеть их в чужом журнале, как переметчиков» («Русский вестник» 1861, март, стр. 293—294). «Два прила-«гаемые отрывка» — отрывки из пятой главы повести, которые и были гнапечатаны в «Московском телеграфе» 1831 г., №№ 7 и 9 (см. ниже), т. е. на год ранее «апелляции», хотя посылались они одновременно. По каким причинам напечатание «апелляции» так долго вадержалось, остается неизвестным, но интересно, что «апелляция»

появилась в «Мссковском телеграфе» вместе с другим письмом Бестужева (А. М. Еще несколько слов его же к издателю Московского Телеграфа. — 1832, № 6, март, стр. 300—301), в котором он протестовал против опубликования отрывка своей повести в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1830, № 53) за подписью некоего Петрова из Енисейска. Вскоре же на страницах «Московского телеграфа» появился «Отвст» И. Петрова «Г-ну Сочинителю Повести: Андрей, Князь Переяславский» («Московский телеграф» 1832, камер-обскура № 10, стр. 216—218). Принося свои извинения и заявляя, что «наглый поступок» с перепечаткой отрывка повести принадлежит издателю «Инвалида» А. Ф. Воейкову, И. Петров уверял Бестужева, что он принадлежит к числу «усерд-нейших почитателей его литературных произведений, как прежних, так и нынешних».

В 1832 г., когда в печати стало известно, что создателем «Андрея Переяславского» является Александр Марлинский, имя его было в зените славы. Он был автором «Испытания», «Вечера на Кавказских водах», «Наездов», «Лейтенанта Белозора» и других повестей.

Андрей, Князь Переяславский. Повесть

Глава первая. Печатается по тексту отдельного анонимного издания первой главы. М., 1828, стр. 1—61.

Опущена заключительная 61-я страница, содержащая редакционные примечания (см. ниже). Перепечатапо без изменений, но с пропуском указанной страницы примечаний в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 18—55.

Строка 6— гулиг, вероятно, от слова гул. Приводим далее текст редакционных примечаний: «1. От Червена произошло имя Червенной России, которую иностранцы обратили в Красную. Сей, в нашей истории достопамятный город есть ныне простое селение и называется Чернеев, близ Хелма на Юг. См. Истор. Госуд. Российск. Карам. ч. І, стр. 444. 2. Шестопер— то же что и буздыхан или пернат. См. Москва или исторический путеводитель 1827. Часть II, стр. 215. На толстом конце булавы обыкновенно для украшения изображались посредством резьбы перья. Так как их было шесть, то от сего булава и получила название Шестопера. См. Friedr. v. Adelung's Herberstein. St. Petersburg. 1818. Стр. 195. З. Ферез или ферезея. Так называлось спереди застегнутое довольно широкое платье без рукавов, которое носили боярыни и их дочери (то же, что у простых сарафан). См. Москва или исторический путеводитель 1827. Ч. І, стр. 267».

Глава вторая. Печатается по тексту анонимного приложения к № 42 журн. «Галатея» на 1830 г. См. примечание выше. Никаких материалов и данных, на основе которых можно было бы исправить многочисленные ошибки и пропуски, которыми изобилует текст повести (см. об этом в заявлении самого Бестужева «Несколько слов от Сочинителя»), к сожалению, до нас не дошло. Таких материалов не было и в 1838 г., когда издавалось Полное собрание сочинений (см. примеч. выше).

Единственная указанная самим автором опечатка («Сон коростеля», а нужно «стон коростеля») исправлена.

Отрывок из V песни поэмы «Андрей, князь Переяславский». Печатается по автографу (с датой 1828 г.) в «Архиве Бестужевых», № 5577, л. 1. Другой автограф «Отрывка» (с датой 1827 г.) сохранился в бумагах Бестужева в Лен. гос. публ. биб-ке. Впервые напечатано в «Московском телеграфе» 1831, № 9, май, стр. 52—54 (см. ниже варианты), без подписи и даты. Перепечатано по автографу 1828 г. в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 99—101.

Варианты журнального текста:

Заглавие: Отрывок из 5-й главы повести: Андрей, князь Перепславский

- 11. Подобно парусам ладей
- 19. У тех лицо пылает боем
- 22. Крыло мечтанья в пламя сеч
- 31. Бойницы близко: князь на воле
- 33. Князь ноет тяжкою тоской

Дума Святослава (Из V песни поэмы Андрей, князь Переяславский). Печатается по автографу (с датой 1828 г.) в «Архиве Бестужевых», № 5577, лл. 3—4. Другой автограф «Думы» (с датой 1827 г.) сохранился в бумагах Бестужева в Лен. гос. публ. биб-ке. Впервые напечатано в «Московском телеграфе» 1831, № 7, апрель, стр. 332—333 (см. ниже варианты); вместо подписи: *; дата: 1827. Перепечатано по автографу 1828 г. в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 102—103.

Варианты журнального текста:

Заглавие: Дума Святослава (Брата Всеволода Ольговича, великого князя). Из 5-й главы повести: Андрей, князь Переяславский.

- 2. И пламя сел, и битвы кровь
- 5. И верю я, у славы сына
- 15. Мой бранный дух, раздолья жадной
- 23. Стремить пернатую стрелу
- 24. Вдыхать в трубу победы звоны

Примечания: Тифон, тромб. Русский Эсл.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПИСЕМ И ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Из письма к С. В. Савицкой 1818 г. Печатается по копии, сделанной Ел. А. Бестужевой («Архив Бестужевых», № 5580, лл. 3—4). Впервые письмо напечатано в сб. «Памяти декабристов», т. І, Л., 1926, стр. 15—17.

Софья Васильевна Савицкая — соседка Бестужевых по имению (в Новоладожском уезде Петербургской губ., на берегу Волхова). М. А. Бестужев в своих мемуарных заметках упоминает «знакомство брата Александра с домом Савицких» и «сердечное участие» в этом знакомстве («Воспоминания Бестужевых», М., 1931, стр. 296).

Из письма к С. В. Савицкой от 1 апреля 1819 г. Печатается по копии, сделанной Ел. А. Бестужевой («Архив Бестужевых», № 5580, лл. 4—5). Впервые письмо напечатано в сб. «Памяти декабристов», т. I, Л., 1926, стр. 19.

. (И з «Поездки в Ревель»). Впервые напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1821, ч. XIII, кн. 2, стр. 133—134, 135, 136, 155, 161—162, 172, 174. Ср. также отдельное издание «Поездки в Ревель», СПБ., 1821. Автограф не сохранился.

⟨Из «Дорожных записок на возвратном пути из Ревеля»⟩. Впервые напечатано в «Невском зрителе» 1821,
 ч. VI, апрель, стр. 20—23. Ср. также отдельное издание «Поездки в Ревель», СПБ., 1821. Автограф не сохранился.

«Из повести «Замок Вендена». Впервые напечатано в «Библиотеке для чтения, составленной из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности», кн. ІХ, СПБ., 1823 (ц. р. 24 апреля 1823 г.). Автограф не сохранился.

⟨Из «Листка из дневника гвардейского офицера»⟩. Впервые напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения» 1823, ч. XXII, № 6, стр. 259—264. Автограф не сохранился.

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ БЕСТУЖЕВЫМ СОВМЕСТНО С РЫЛЕЕВЫМ

«Царь наш немец прусский». Впервые напечатано в «Полярной звезде на 1859 г.», кн. V, стр. 12, в числе трех «Стихотворений Рылеева и Бестужева». Перепечатано в «Русской потаенной литературе XIX столетия», Лондон, 1861, стр. 116, откуда перешло без перемен в многочисленные зарубежные сборники нелегальных стихотворений. Автограф не сохранияся.

«Царь наш немец прусский»— Александр І. «Песня» могла быть написана не позже весны 1823 г., так как князь П. М. Волконский, упоминаемый в песне, с 30 апреля 1823 г. был уже заменен в должности начальника главного штаба И. И. Дибичем. Сводку данных о бытовании песни см. в примечаниях Ю. Г. Оксмана к «Полному собр. стихотв. К. Ф. Рылеева», Л., 1934, стр. 508—509.

«Ах, где те острова...». Впервые напечатано в «Полярной звезде на 1859 г.», кн. V, стр. 9—10, в ряду «Стихотворений Рылеева и Бестужева». Перепечатано в «Русской потаенной литературе XIX столетии», Лондон, 1861, стр. 111—113, откуда перешло во многие другие зарубежные сборники нелегальных стихотворений. Автограф не сохранился. Сводку данных о текстовых особенностях песни и о ее бытовании см. в примечаниях Ю. Г. Оксмана к «Полному собр. стихотв. К. Ф. Рылеева», Л., 1934, стр. 509—510. Песня написана не поэже 1823 г.

«Ты скажи, говори...». Впервые напечатано в «Полярной звезде на 1859 г.», кн. V, стр. 10, как часть песни «Ах, где те острова», но без шести заключительных строк (от стиха «Как курносый злодей» и пр.); впервые эти дополнительные строки появились в «Полном собр. соч. К. Ф. Рылеева» под ред. Н. В. Гербеля, Лейпциг, 1861, стр. 333. Автограф не сохранился.

Редактором «Полного собр. стихотв. К. Ф. Рылеева» (Л., 1934) текст стихов «Ты скажи, говори» выделен из песни «Ах, где те острова». Об основаниях такого совершенно правильного выделения см. в примечаниях к указанному изданию, стр. 509—512.

В песне идет речь о дворцовых переворотах 1762 г. (сверже-

ние Петра III) и 1801 г. (убийство Павла I).

«Курносый злодей» — Павел I.

«Ах, тошно мне...». Впервые напечатано по авторитетной копии с автографа Рылеева (Архив Октябрьской революции в Москве, дело бывш. Госуд. архива, І В, № 281, лл. 97—98) в «Полном собр. стихотв. К. Ф. Рылеева», Л., 1934, стр. 311—312. Справку о предшествовавших (весьма неисправных) русских и зарубежных публикациях песни см. в указанном издании, стр. 513. Автограф не сохранился.

Начальные строки песни являются революционной переработкой популярного романса Ю. Д. Нелединского-Мелецкого «Ох, тошно мне на чужой стороне». В песне затронуты наиболее острые и злободневные общественно-экономические вопросы, а также вопросы, связанные с состоянием государственного хозяйства и административного аппарата первой половины 20-х годов. Об актуальности затронутых в песне вопросов можно судить, сопоставив строфы этой песни с высказываниями на сходные темы во время следствин и суда над декабристами таких деятелей Тайного общества, как сам А. А. Бестужев (см. его письмо из крепости в начале 1826 г. Николаю I), Г. С. Батеньков, А. И. Якубович, П. Г. Каховский, В. И. Штейнгель и др. Подробнее см. в примечаниях к «Полному собр. стахотв. К. Ф. Рылеева», Л., 1934, стр. 516.

«Ужкак шел кузнец». Впервые напечатано в «Русской потавенной литературе XIX столетия», Лондоп, 1861, стр. 425, с заголовком: «Пропущенное стихотворение Рылесва». Сводку данных о песне см. в «Полном собр. стихотв. К. Ф. Рылеева», Л., 1934, стр. 517.

Перевод поэмы Мирзы-Фатали Ахундова «На смерть Пушкина». Впервые напечатано в «Русской старине» 1874, кн. II, стр. 76—79. Автограф перевода не сохранился.

Мирза Фатали Ахундов (1812—1878) — знаменитый тюркский писатель, основоположник новой азербайджанской литературы и революционный демократ Азербайджана. М. Ф. Ахундов служил помощником переводчика восточных языков в канцелярии главноуправляющего гражданской частью на Кавказе бар. Г. В. Розена. Под командованием бар. Г. В. Розена в мае 1837 г. была предпринята военная экспедиция в Абхазию, к мысу Адлера, в которой М. Ф. Ахундов принял участие вместе с Бестужевым. Но Бестужев из экспедиции уже не вернулся. Перевод поэмы М. Ф. Ахундова был осуществлен Бестужевым за три дия до гибели. Перевод приобрел значительную популярность в Закавказьи и распространялся в рукописных списках. См. статью М. Рафили «Пушкин и Мирза Фатали Ахундов» во «Временнике Пушкинской комиссии», т. II, М. — Л., 1936, стр. 240—254.

приложения

Взгляд на старую и новую словесность в России. Впервые напечатано в «Полярной звезде на 1823 г.», изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым, СПБ., ц. р. 30 ноября 1822 г., стр. 1—44, подписано: А. Бестужев. Перепечатано с исключением упоминания о Рылееве в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 207—243.

О связи первого критического обзора Бестужева с карамзинскими идейными традициями см. во вступительной статье, стр. XV наст. изд. К этим же традициям восходит данная в отборе характеристика Екатерины II как покровительницы просвещения (см. стр. 155). Бестужев оставался здесь во власти дворянской легенды о «золотом веке» Екатерины II, о величайшем благоденствовании ее царствования и пр. Ср. не предназначавшийся для печати и исключительный по резкости одновременный отзыв Пушкина о Екатерине II как о «Тартюфе в юбке и в короне»: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространявший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер поозгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность». («Заметки по русской истории XVIII в.»)

В первом своем критическом обзоре, а также и в последнем (см. стр. 167 и 187) Бестужев дал сочувственную оценку прозе и публицистике Ф. Булгарина и Н. Греча. Булгарин считал себя другом Бестужева, Рылеева и Грибоедова и до 14 декабря 1825 г. был связан с передовыми общественными кругами. Однако и в это время он зарекомендовал себя интриганом и карьеристом, а в годы Николаевской реакции сделалси официозным литературным дельцом и агентом III отделения, систематически проводившим травлю Пушкина, Гоголя, Белинского и всех писателей «натуральной школы» 40-х гг. Н. Греч — в молодости либеральный писатель и общественный деятель, редактор-издатель «Сына Отечества», лучшего литературного журнала в 20-е гг., стал соратником Булгарина и после 14 декабря 1825 г. тоже быстро превратился в официозного и беспринципного журналиста.

Вягляд на русскую словесность в течение 1823 года. Впервые напечатано в «Полярной звезде на 1824 г.», изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым, СПБ., ц. р. 20 декабря 1823 г., стр. 1—14, подписано: Александр Бестужев. Перепечатано без изменений в Полном собр. соч., ч. XI, СПБ., 1838, стр. 167—180.

Вягляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов. Впервые напечатано в «Полярной явеяде на 1825 г.», изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым. СПБ., ц. р. 20 марта 1825 г., стр. 1—23, подписано: А. Бестужев. Перепечатано с исключением упоминания о Рылееве в Полном собр. соч., ч. X1, СПБ., 1838, стр. 183—204.

СОДЕРЖАНИЕ

А. А. Бестужев-Марлинский. Вступительная статья Н. И. Мор-	v
dobuenko	V
стихотворения	
Дух бури (Из Лагарпа)	3
К К (реницын) у	4
Полражание первой сатире Буало	5
Отрывок из комедии «Оптимист»	9
К некоторым поэтам	10
Шарады	
1. «Часть первая моя в турецкой стороне»	12
2. «Лишеиный головы, ни рыба я, ни зверь»	12
«Себе любезного ищу»	12
«Близ стана юноша прекрасный»	14
Эпиграммы	
1. «Как Нина хорошо скрывает»	15
2. «По городу молва несется»	15
Обитель сна (Подражание Овидию)	15
Эпиграмма на Жуковского	16
К Рылееву	17
Саатырь (Якутская баллада)	17
Имониннич	21
Имениннику	22
Hepen	23
Юность (Подражание Гете)	23 24
Marriam (Ma Para)	24
Магнит (Из Гете). Всегда и везде (Из Гете) Из Гафиза	25
He Former	25 25
Из Гафиза	
Из Гете (С персидского)	25
Из Гете (Подражание)	26
Зюлейка	26
С персидского	26
Eii	26
Алине	27
(Перевод из «Фауста» Гете)	28
Финдикидия	28
10CT	29
Осень	31
В день имении Ал. Ив. Мй	32

ЛидеРазлука	35 36
Пресыщение	37 38
Часы	39
Сон	40 42
Дождь	42
Оживление	43 43
(Из повести «Испытание»)	43 43
Ириписки к богатому падгробию в бедности умершего поэта Эпиграммы	44
1. «Люблю я критика Василья»	44
2. «Клим зерпами идей стихи свои назвал»	44
3. «Да, да, в стихах моих знакомых»	44 45
(Из повести «Аммалат-бек»)	
1. Старинная песня кабардинцев	45 46
Поэтам архипелага пелепостей, в море пустозвучия	47
«Я за морем синим, за синею далью»	48 48
одоудь, забудь. Кн. 11. 3. (Из повести «Мулла-Нур»)	49
Плывет по морю	49
LUTDE MIGGE HEREGET DOWNER WARDOWS	
андрей, князь переяславский. повесть	
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перел-	
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перел-	5 3
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перел- славский	53 59 84
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перея- славский	59 84 111
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перел- славский	59 84
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перея- славский	59 84 111
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский	59 84 111
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский	59 84 111
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перелславский. Андрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 117
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский. Апдрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 119 120
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский. Апдрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 119 120 126 128
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский. Апдрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 119 120 126
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский. Апдрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 119 120 126 128
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский. Апдрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 119 120 126 128
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Переяславский. Апдрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 119 120 126 128 130
Несколько слов от Сочинителя повести: Апдрей, князь Перелславский. Апдрей, князь Переяславский. Повесть. Глава первая	59 84 111 113 117 119 120 126 128 130

«Ты скажи, говори»	138 139
«Уж как шел кузпец»	141
перевод поэмы мярзы-фатали ахундова	
На смерть Пушкина	145
ВИНЗЖОГИЧП	
Взгляд на старую и новую словесность в России	151
Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале	170
1825 годов	177
Примечания	189

Редактор В. Саянов

Переплет и титул по макетам художника М. Кирнарского. Техн. редактор А. Кирнарскал. М-07748. Подписано к печати 10/XI 1947 г. Печ. л. 16,25. Уч.-изд. л. 13,77. А. л. 13,27. Тираж 10 000. Цена 10 р. 25 к. Заказ № 805. 2-к типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграфкии» ОГНЗа при Советс Министров СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПКЧАТЫМ

Стр	Стр ока	Напечатано	Csedyem читать		
5	после 1 св.		Для ней чертога света малы		
105 105 158 213	14 . 13 ch. 16 cb. 19 .	грани ц жажды 1781 отборе	гройниц жизна 1737 об зоре		

А. Бестужев-Марлинский

